

Артю́р Рембо

Пьяный корабль. Стихотворения

Пьяный корабль

Я плыл вдоль скучных рек, забывши о штурвале:
Хозяева мои попали в плен гурьбой —
Раздев их и распяв, индейцы ликовали,
Занявшись яростной, прицельною стрельбой.
Да что матросы, – мне без проку и без толку
Фламандское зерно, английский коленкор.
Едва на отмели закончили поколку,
Я был теченьями отпущен на простор.
Бездумный, как дитя, – в ревущую моряну
Я прошлюю зимой рванул – и был таков:
Так полуострова дрейфуют к океану
От торжествующих земных кавардаков.
О, были неспроста шторма со мной любезны!
Как пробка легкая, плясал я десять дней
Над гекатомбою беснующейся бездны,
Забыв о глупости береговых огней.
Как сорванный дичок ребенку в детстве, сладок
Волны зеленый вал – скорлупке корабля, —
С меня блевоту смой и синих вин осадок,
Без якоря оставь меня и без руля!
И стал купаться я в светящемся настое,
В поэзии волны, – я жрал, упрям и груб,
Зеленую лазурь, где, как бревно сплавное,
Задумчиво плывет скитающийся труп.
Где, синеву бурлить внезапно приневоля,

В бреду и ритме дня сменяются цвета —
Мощнее ваших арф, всеильней алкоголя
Бродилища любви рыжеет горькота.
Я ведал небеса в разрывах грозных пятен,
Тайфун, и водоверть, и молнии разбег,
Зарю, взметенную, как стаи с голубятен,
И то, что никому не явлено вовек.
На солнца алый диск, грузнеющий, но пылкий,
Текла лиловая, мистическая ржа,
И вечные валы топорщили закрылки,
Как мины древние, от ужаса дрожа.
В снегах и зелени ночных видений сложных
Я вымечтал глаза, лобзавшие волну,
Круговращение субстанций невозможных,
Поющих фосфоров то синь, то желтизну.
Я много дней следил – и море мне открыло,
Как волн безумный хлев на скалы щерит пасть, —
Мне не сказал никто, что Океаньи рыла
К Марииным стопам должны покорно пасть.
Я, видите ли, мчал к неизвестным Флоридам,
Где рысь, как человек, ярит среди цветов
Зрачки, – где радуги летят, подобны видом
Натянутым вожжам для водяных гуртов.
В болотных зарослях, меж тростниковых вершей,
Я видел, как в тиши погоды штилевой
Всей тушею гниет Левиафан умерший,
А дали рушатся в чудовищный сувой.
И льды, и жемчуг волн; закат, подобный крови;
Затоны мерзкие, где берега круты
И где констрикторы, обглоданы клоповьей

Ордой, летят с дерев, смердя до черноты.
Я последить бы дал детишкам за макрелью
И рыбкой золотой, поющей в глубине;
Цветущая волна была мне колыбелью,
А невозможный ветер сулил воскрылья мне.
С болтанкой бортовой сливались отголоски
Морей, от тропиков простертых к полюсам;
Цветок, взойдя из волн, ко мне тянул присоски,
И на колени я по-женски падал сам...
Почти что остров, я изгажен был поклажей
Базара птичьего, делящего жратву, —
И раком проползал среди подгнивших тяжей
Утопленник во мне поспать, пока плыву.
И вот – я пьян водой, я, отданный просторам,
Где даже птиц лишен зияющий эфир, —
Каркас разбитый мой без пользы мониторам,
И не возьмут меня ганзейцы на буксир.
Я, вздымленный в туман, в лиловые завесы,
Пробивший небосвод краснокирпичный, чьи
Парнасские для всех видны деликатесы —
Сопля голубизны и солнца лишаи;
Доска безумная, – светясь, как скат глубинный,
Эскорт морских коньков влекущий за собой,
Я мчал, – пока Июль тяжелою дубиной
Воронки прошибал во сфере голубой.
За тридцать миль морских я слышал рев Мальстрима,
И гонный Бегемот ничтожил тишину, —
Я, ткальщик синевы, безбрежной, недвижимой,
Скорблю, когда причал Европы вспомяну!
Меж звездных островов блуждал я, дикий странник.

В безумии Небес тропу определив, —
Не в этой ли ночи ты спишь, самоизгнанник,
Средь златоперых птиц, Грядущих Сил прилив?
Но – я исплакался! Невыносимы зори,
Мне солнце шлет тоску, луна сулит беду;
Острейшая любовь нещадно множит горе.
Ломайся, ветхий киль, – и я ко дну пойду.
Европу вижу я лишь лужей захолустной,
Где отражаются под вечер облака
И над которою стоит ребенок грустный,
Пуская лодочку, кто хрупче мотылька.
Нет силы у меня, в морях вкусив азарта,
Скитаться и купцам собой являть укор, —
И больше не могу смотреть на спесь штандарта,
И не хочу встречать понтона жуткий взор!

Перевод Е. Витковского

Стихотворения

Сиротские подарки

I

Нет света в комнате, и на подушках спальных
Чуть слышный шепоток двух малышей
 печальных,
Склонивших головы, отяжелев от грез;
Под белым пологом им горестно до слез...
Снаружи воробьи озябли, стужа крепла,
Сковало крылья им под небом цвета пепла.
С туманом Новый Год пожаловал на двор,
Волочет по земле свой снеговой убор,

Поет и мерзнет он и, улыбаясь, плачет...

II

Двух маленьких детей волнистый полог
прячет.

Так тихо говорят, как будто ночь вокруг,
И их, задумчивых, бросает в трепет вдруг
От звука дальнего; а утро уж настало,
И как в стеклянный шар припевом из металла
Звук чистый, золотой снаружи бьет и бьет...
В их комнату сквозняк пробился, и вразмет
Одежды траура легли вокруг кровати.
К ним ветер северный пришел, как гость,
некстати,

Уныние одно вдохнул он в этот дом.

Кого-то, кажется, недоставало в нем...

Неужто не придет родная мать к малюткам,

Не улыбнется им тепло, со взглядом чутким?

Забыла ли она вечор камин разжечь,

Золу разворошить, от холода сберечь,

Накрыв своих детей пушистым одеялом?

Неужто бросила в бездушьи небывалом

На произвол ветров, совсем не защитив

Их в спальне, чтоб туда не задувал порыв?

О, греза матери, как пух, она согреет,

В уютном гнездышке птенцов своих лелеет,

На ласковых руках качая малышей,

Что безмятежно спят, а сны – снегов белей!..

И вот – у них в гнезде нет ни тепла, ни пуха,

Лишь ветер января там завывает глухо.

Им холодно, не спят, и страх царит в душе...

Ш

Сироты малые – вы поняли уже.
Нет матери у них, отец в краях не этих,
Служанка старая заботится о детях.
Четырехлетние, в дому они одни,
И грезы пробудить стараются они
Воспоминаньями, что радужны и четки,
Как бы молитвенно перебирают четки.
Какое утро, ах! сулит подарки им!
А ночью были сны, и с трепетом каким
В них каждый увидел желанную игрушку,
Конфету в золоте, цветную побрякушку,
И шумным танцем всё кружилось в пестроте,
То появлялось вдруг, то гасло в темноте!
Проснувшись, радостно встают они с постели,
Глаза руками трут, во рту вкус карамели,
И волосы у них растрепаны со сна.
День праздничный настал; им комната тесна,
Как были босиком, к родительским покоем
Бегут они, а там как будто суждено им
Улыбки повстречать, там расцелуют их
И шалости простят в честь праздника сей миг.

IV

О, сколько прелести в словах их прежних

было!

Но изменилось всё, в дому теперь уныло,
А раньше в очаге большой огонь трещал,
Он комнату сполна и щедро освещал;
Алели отблески, пускаясь в танец ловкий
По старой мебели в блестящей лакировке...

И шкаф был без ключей!.. представьте,
без ключей!..

Смотрели в скважину глазенки малышей...
Как странно, без ключей! Они мечтали, веря
В таинственность того, что там за черной дверью.
Казалось им, что там, за скважиной замка,
Неясный смутный шум летит издалека...
Но у родителей теперь в покоях пусто,
Нет алых отблесков, там тьма нависла густо.
И нет родителей, тепла нет в очаге,
Ни поцелуев нет, ни сладостей в фольге!
Печален первый день родившегося года,
В их голубых глазах посеяла невзгода
Задумчивость, печаль и слезы; хмурят бровь
И шепчут: «Ну, когда увидим маму вновь?»
.....

V

В дремоте у детей смежаются глаза,
Вам показалось бы, что там блестит слеза.
Распухли веки их, с тяжелым спят дыханьем.
Как детские сердца чувствительны
к страданиям!

Но ангел к ним пришел и вытер капли слез,
Вдохнул в тяжелый сон отраду ярких грез,
Веселые мечты, и кажется: улыбкой
Раскрылись их уста и задрожали зыбко.
Им снится, что они, на руку опершись
И голову подняв, глядят вперед и ввысь,
Вокруг себя глядят, и чудо зрят Господне:
Как будто в розовом раю они сегодня,

И сладко им поет сверкающий очаг,
И за окном – лазурь такая ж, как в очах;
Природа, опьянев от солнца, пробудилась,
Счастливая земля, нагая, возродилась,
Пригретая лучом, от неги вся дрожит.
А в доме их уют, тепло, очаг горит,
И траурных одежд не видно как дотоле,
И ветер не ревет у их порога боле.
Не фея ль добрая влетела к ним сюда?
И вот они кричат от радости... О да,
Свет розовый блеснул над материнским

ложем,

И здесь под простыней сверкнуло...

предположим,

Что медальона два; они из серебра,
Гагат и перламутр, на них лучей игра,
И оба под стеклом сияют, каждый в раме,
И выбито на них два слова: «НАШЕЙ

МАМЕ!»

.....

Перевод А. Триандафилиди

Ощущение

В сапфире сумерек пойду я вдоль межи,
Ступая по траве подошвою босою.
Лицо исколют мне колосья спелой ржи,
И придорожный куст обдаст меня росой.
Не буду говорить и думать ни о чем —
Пусть бесконечная любовь владеет мною —
И побреду, куда глаза глядят, путем

Природы – счастлив с ней, как с женщиной
земною.

Перевод Б. Лившица

Солнце и плоть

I

Светило с вышины, очаг тепла и света,
На землю нежность льет; лучами разогрета,
Невестою она созрела для любви,
И сладострастный жар горит в ее крови —
И, лежа на траве задумчивого лога,
Мы чувствуем: она взыскует ласки Бога;
В ней женская душа, в ней страсть заключена,
И глубина земли зародышей полна!

Все зреет, все растет!

– Венера, о Богиня!

О древних временах я сожалею ныне,
Когда мохнатый фавн, от страсти ошалев,
В безумии скакал и грыз кору деревьев,
И нифму целовал сатир среди кувшинок!
Копытами топча сплетения тропинок,
Вмещающая целый мир, весельем обуян,
Со свитою своей ступал великий Пан!
И травы под стопой его козлиной млели,
Когда в сени лесной играл он на свирели
Великий гимн любви, и пело всё вокруг,
И откликался мир на этот чудный звук,
И отзывалась жизнь, и с ним стремилась

слиться:

И вековечный лес, в ветвях качая птицу,

И нежная Земля, и Океан седой,
И вечная любовь звучала в песне той!
О, как жалею я о временах Кибелы:
В квадриге золотой, красавицею зрелой
Богиня с высоты спускалась в мир людей,
Струился водопад из близнецов-грудей,
Всему даруя жизнь, божественным потоком,
И каждый Человек был счастлив этим соком;
Припав к сосцам ее, он, как младенец, пил.
– Он был силен и добр, и целомудрен был.
Увы! Прошла пора богов, и скисли души,
И человек твердит, закрыв глаза и уши:
«Теперь я знаю всё». Безбожник и бахвал,
Он стал Король и Бог, но Веру утерять.
О, если б он сосал твои сосцы, Кибела,
Астарты не забыл пленительное тело,
Что розовый пупок являла из волны,
Сияя красотой в мерцании луны,
И в аромате роз над гладью белопенной
Вставала, как цветок, владычицей Вселенной;
Под взором черных глаз из-под густых бровей
В сердцах любовь цвела, пел в роще соловей!

II

Я верую в тебя, морская Афродита!
Увы! Твоя краса давно от нас сокрыта
С тех пор, как Бог иной нас приковал к кресту;
Венера, мрамор твой боготворю и чту!
– Уродлив Человек и грустен без предела;
Невинность утерав, в одежды прячет тело;
Божественную грудь его покрыла грязь;

Как идол на костре, страдает, тяготясь
Оковами раба и узами обета!
И после смерти он в обличии скелета
Мечтает дальше жить, природу оскорбив!
– А Женщина, что нам несла любви порыв
И нежностью своей обожествляла глину;
Та, что могла увлечь несчастного Мужчину
К высотам за собой, чаруя и пьяня,
Чтоб он восстал из тьмы, обрел красоты дня,
Забыла навсегда умения гетеры!

– И вот, хохочет мир над именем Венеры,
Священным и благим – она ему смешна!

III

Вернитесь же назад, былые времена!
Окончен Человек! он отыграл все роли!
И близок, близок день, когда по вольной воле,
Свободный от Богов, окинет взором он
Те небеса, где был он некогда рожден!
И ты узришь тогда, как пламя идеала
На благородном лбу победно воссияло;
Как, раздвигая плоть, из тела Бог встает!
Как гордо он стоит без страха и забот,
Отринувший ярмо печали и сомненья,
И дать ему придешь святое Искупленье!
– Сияя и лучась, ты возвратишься вновь,
С улыбкою неся безмерную Любовь;
Придешь ты, осветив собой безмерность Мира!
И затрепещет он, как сладостная лира,
Впивая огневых лобзаний волшебство!
– Любви жаждет Мир! Так напои его.

.....

Поднялся Человек, свободный и могучий,
И вот внезапный луч уже пронзает тучи,
И, как на алтаре, трепещет в теле Бог!
Был Человек рабом, но рабство превозмог
И хочет все познать! И мысли кобылица,
Что клячею плелась, сегодня ввысь стремится
С державного чела, дабы достичь высот!..
Пусть скачет без узды и Веру принесет!
– Зачем подернут мир лазурной немотою,
Где звезд огни горят нам россыпью златою?
И что таит от нас небес густой покров?
Найдется ль Пастырь там испуганных миров,
Что гонит их стада в неведомом просторе?
И стонет ли эфир, его указам вторя,
Пока миры, дрожа, ведут свой вечный бег?
– Но может ли узнать все это Человек
Иль помыслы о том – лишь праздные мечтанья?
И если краток путь с рожденья до закланья,
Куда уходим мы? Нас примет глубина
Тех океанских вод, где плещут Семена,
Зародыши, Ростки? А после Мать-природа
Нас воскресит – и мы однажды пустим всходы,
Как роза и зерно с пришествием весны?..
Нам не узнать того! Умы окружены
Невежественной тьмой и облаком тумана!
Из лона матерей явились обезьяны,
Которым ничего постигнуть не дано!
Мы жадно в мир глядим – но все вокруг темно!
И хлещет нас крылом сомнений злая птица,

И дальний горизонт умчаться прочь стремится!..

.....

Раскрылись небеса! Секреты их постиг

Сегодня Человек, свободный от вериг!

И ныне, окружен величием Природы,

Заводит песню он... и вслед леса и воды

Поют счастливый гимн, освобождаясь от зла!..

– Явилась в мир любовь! Любовь к нам снизошла!..

IV

О, плоти красота! Величье идеала!

Возврат поры, когда любовь легко ступала,

И подчинял себе героев и богов

Стрелой малыш Эрот, и Каллипиги зов

Цветам дарил весну, а душам трепетанье,

И белоснежных роз текло благоуханье!

– О Ариадна, ты на краешке земли

С рыданием следишь, как в голубой дали

Белеет над волной Тесеево ветрило;

О девушка, не плачь! Твой разум ночь затмила!

Вот Лисий на своей квадриге золотой

Спешит, заморожен твоею красотой;

Влечет его пантер восторженная стая,

И брызжет виноград, дорогу обагрывая.

– Несет Европу Зевс в обличии быка,

На спину посадив, и белая рука

Красавицы нагой за жилистую шею

Его приобняла, смущаясь и робея;

Он повернулся к ней среди студеных струй;

Она, закрыв глаза, приемлет поцелуй

Горячих уст его с томлением во взоре,

И пеной золотой ее ласкает море.
– Вот Лебедь на воде, в мечтанья погружен,
И белизной крыла объемлет Леду он,
Меж лотосом плывя и пышной лавророзой;
– Киприда между тем скользит волшебной грезой
И, красотой горда, вершит свой царский путь,
Не покрывая чресл, показывая грудь
И снежный свой живот, что черным мхом украшен;
– Вот шествует Геракл, неистов и бесстрашен,
Чей препоясан торс косматой шкурой льва,
И к облакам его возведена глава!
Стоит, освещена июльскою луною,
Дриада в тишине, и голубой волною
Течет ее коса; она обнажена,
И звездный свет во мху касается колена,
И смотрит в небеса бессловные она...
– Роняет белый луч стыдливая Селена
Туда, где вечным сном уснул Эндимион,
И поцелуй ее сияньем озарен...
– В журчаньи родника тоска и упоенье...
То Нимфы над водой мечтательное пенье
О юноше, что вдаль ушел в глухой ночи.
– Лобзанья ветерка призывно горячи,
Но он умчался прочь. И в темноте молчащей
Один лишь древний храм царит над мрачной чашей,
Где свил гнездо снегирь на мраморном челе...
– И боги смотрят в Мир и внемлют Нам – во мгле.

Перевод Ю. Лукача

Офелия

По черной глади вод, где звезды спят беспечно,
Огромной лилией Офелия плывет,
Плывет, закутана фатою подвенечной.
В лесу далеком крик: олень замедлил ход.
По сумрачной реке уже тысячелетье
Плывет Офелия, подобная цветку;
В тысячелетие, безумной, не допеть ей
Свою невнятицу ночному ветерку.
Лобзая грудь ее, фатою прихотливо
Играет бриз, венком ей обрамляя лик.
Плакучая над ней рыдает молча ива.
К мечтательному лбу склоняется тростник.
Не раз пришлось пред ней кувшинкам расступиться.
Порою, разбудив уснувшую ольху,
Она вспугнет гнездо, где встрепенется птица.
Песнь золотых светил звенит над ней, вверху.

2

Офелия, белей и лучезарней снега,
Ты юной умерла, унесена рекой:
Не потому ль, что ветер норвежских гор с разбега
О терпкой вольности шептаться стал с тобой?
Не потому ль, что он, взвевая каждый волос,
Нес в посвисте своем мечтаний дивных сев?
Что услышала ты самой Природы голос
Во вздохах сумерек и жалобах деревьев?
Что голоса морей, как смерти хрип победный,
Разбили грудь тебе, дитя? Что твой жених,
Тот бледный кавалер, тот сумасшедший бедный,
Апрельским утром сел, немой, у ног твоих?
Свобода! Небеса! Любовь! В огне такого

Виденья, хрупкая, ты таяла, как снег;
Оно безмерностью твое глушило слово —
И Бесконечность взор смутила твой навек.

3

И вот Поэт твердит, что ты при звездах ночью
Сбираешь свой букет в волнах, как в цветнике.
И что Офелию он увидел воочью
Огромной лилией, плывущей по реке.

Перевод Б. Лившица

Бал повешенных

С морильной свешены жердины,
Танцуют, корчась и дразня,
Антихристовы паладины
И Саладинова родня.
Маэстро Вельзевул велит то так, то этак
Клиенту корчиться на галстуке гнилом,
Он лупит башмаком по лбу марионеток:
Танцуй, стервятница, под елочный псалом!
Тогда ручонками покорные паяцы
Друг к другу тянутся, как прежде, на балу,
Бывало, тискали девиц не без приятцы,
И страстно корчатся в уродливом пылу.
Ура! Живот отгнил – тем легче голодранцам!
Подмостки широки, на них – айда в разгул!
Понять немислимо, сражению иль танцам
Аккомпанирует на скрипке Вельзевул.
Подошвы жесткие с обувкой незнакомы,
Вся кожа скинута долой, как скорлупа,
Уж тут не до стыда, – а снег кладет шеломы
На обнажённые пустые черепа.

По ним – султанами сидит воронья стая,
Свисает мякоть щек, дрожа, как борода,
И кажется: в броню картонную, ристая,
Оделись рыцари – вояки хоть куда.
Ура! Метель свистит, ликует бал скелетов,
Жердина черная ревет на голоса,
Завыли волки, лес угрюмо-фиолетов,
И адской алостью пылают небеса.
Эй! Потрясите-ка вон тех смурных апашей,
Что четки позвонков мусолят втихаря:
Святош-молельщиков отсюда гонят взашей!
Здесь вам, покойнички, не двор монастыря!
Но, пляску смерти вдруг прервав, на край

подмостка

Скелет невиданной длины и худобы
Влетает, словно конь, уздой пеньковой жёстко
Под небо алое взметенный на дыбы;
Вот раздаётся крик – смешон и неизящен,
Мертвец фалангами по голеням стучит, —
Но вновь, как скоморох в шатер, он в круг затащен
К бряцанью костяков – и пляска дальше мчит.
С морильной свешены жердины,
Танцуют, корчась и дразня,
Антихристовы паладины
И Саладинова родня.

Перевод Е. Витковского

Возмездие Тартюфу

Рукой в перчатке он поглаживал свою
Сутану, и форсил, не оставляя втуне

Сердечный жар, и был сусален, как в раю,
И верой исходил, всю пуская слюни.
И вот настал тот день, когда один Злодей
(Его словцо!), пока гундосил он осанну,
(Его словцо!), пока гундосил он осанну,
Бранясь, схватил плута за шкуру без затей
И с потных прелестей его сорвал сутану.
Возмездие!.. Сукно разорвано по швам,
И четки длинные, под стать его грехам,
Рассыпались, гремя... Как побледнел святоша!
Он молится, сопя и волосы ероша...
А что же наш Злодей? Хвать шмотки – и привет!
И вот святой Тартюф до самых пят раздет!
Перевод М. Яснова

Кузнец

Тюильри, ок. 10 августа 92 г.
Рука на молоте, могуч, широколоб,
Величествен и пьян, он хохотал взахлеб,
Как будто рев трубы в нем клокотал до края, —
Так хохотал Кузнец и говорил, вперяя
В живот Людовика Шестнадцатого взгляд,
В тот день, когда народ, неистовством объят,
Врывался во дворец быстрее речной стремнины,
Засаленным рваньем стирая пыль с лепнины.
Король еще смотрел заносчиво, но пот
Украдкой вытирал и чуял эшафот,
Как палку – битый пес; а рядом эта шельма,
Уставив на него презрительные бельма,
Такое говорил, что пробирала дрожь!
«Тебе не знать ли, сир, что мы за медный грош

Батрачили на всех, безропотны и кротки,
Покуда наш кюре нанизывал на четки
Монеты бедняков, пред Богом павших ниц,
А наш сеньор в лесах травил зверье и птиц?
Тот плетью нас лупил, а этот – крепкой палкой,
Пока не стали мы под стать скотине жалкой
И, выплакав глаза, пошли за кругом круг.
Когда же полземли вспахал наш нищий плуг
И каждый лег костями на барском черноземе, —
Тогда подумали они о нашем доме
И стали по ночам лачуги наши жечь.
Вот невидаль: детей, как пироги, испечь!
Нет, я не жалуюсь. Считай, что все – забава,
И можешь возразить: ты ввел такое право...
И вправду, чем не рай, когда в июньский зной
В амбар въезжает воз, нагруженный копной
Огромной? И дождем листы в садах примяты,
И от сухой травы исходят ароматы?
И вправду, чем не рай – поля, поля кругом,
И жатва, и гумно, забитое зерном?
Да что там говорить! Коль ты силен и молод,
Скорее горн раздуй и пой, вздымая молот!
Себе любой из нас и пахарь, и кузнец, —
Когда ты человек, и если щедр Творец!
Но это все уже давным-давно приелось...
Теперь-то я умен, и мне по нраву смелость,
Ведь если молот есть и пара крепких рук,
Что ждать, когда придет сиятельный индюк
С кинжалом под плащом и гаркнет: «Марш
на поле!»?

А ежели война – пусть сам воюет вволю!
Нет, он опять ко мне: теперь отдай сынка!
Что ж, я простолюдин. А ты король. Пока.
Бубнишь: «Я так хочу!» А вот по мне, так глупо,
Что в золоте твоя роскошная халупа,
Что ходят гоголем, напялив галуны,
Твои бездельники, спесивы и пьяны.
Ублюдков наплодив, ты отдал им на откуп
Честь наших дочерей, мечтая: «За решетку б
Отправить голытьбу! А мы хребтом своим,
Собрав по медяку, твой Лувр озолотим!
Ты будешь пить да жрать, все слаще, все жирнее, —
А прихвостням твоим висеть у нас на шее?
Нет! Мы прогнали прочь постыдный страх и ложь,
Продажным никогда Народ не назовешь.
Пусть пыль столбом стоит там, где тюрьма стояла:
Здесь было все в крови, от кровли до подвала,
И это – наша кровь! Что может быть верней,
Чем иступленный вой поверженных камней?
И он поведал нам, как жили мы в темнице.
Послушай, гражданин: то прошлое ярится.
Как башни рушились от боли озверев!
Он был сродни любви – наш ненасытный гнев.
И детям протянув отцовские ладони,
Мы вместе шли вперед, мы были словно кони,
Когда они летят, не ведая узды, —
Вот так мы шли в Париж, свободны и горды.
Мы были голь и рвань, но вид наш не коробил
Свободных горожан. Да, сударь, час наш пробил,
Мы стали – все – Людьми! И, яростью полны,

Едва мы добрались до черной той стены,
Украшив головы дубовыми ветвями, —
Как вдруг утихнул гнев, что верховодил нами:
Мы были сильными – и позабыли зло!
.....
.....
Но нас безумие в ту пору вознесло!
Смотри: рабочие беснуются в кварталах,
Недаром, проклятых, вал гнева поднимал их —
Сброд призраков пошел на штурм особняков:
И я среди своих – и убивать готов!
Держитесь, господа доносчики и шпики,
Мой молот вас найдет, проткнут вас наши пики!
И кто там ни таись, мерзавца за нос – хватать!
Вот и тебе, король, придется посчитать,
Какой навар дают несметные чинуши,
Которые толпой идут по наши души.
Что жаловаться тем, в ком жалости – на гран,
И тем пожалуют, что буркнут: «Вот болван!..»?
Законники твои в котлах придворной кухни
Такое развели – хоть с голодухи пухни:
Кто подать новую сумеет проглотить?
А нос при виде нас не стоит воротить —
Мы пахнем тем, чем вы, посланники народа,
Нас угощаете. Уж такова природа.
Довольно! Где штыки? И плут, и лизоблюд
С приправой острою на блюда нам пойдут —
Готовься, гражданин: во имя этой пищи
Ломают скипетры и жезлы те, кто нищи...»
.....

Он занавес сорвал и распахнул окно —
Внизу, куда ни глянь, кишело чернью дно,
Могучая толпа с величием гигантским
Бурлила у стены прибоем океанским,
Гудела, как волна, и выла, точно пес,
И лесом острых пик огромный двор порос,
И в этом месиве повсюду то и дело
Кровь красных колпаков среди рванья алела.
Все это из окна Людовик рассмотрел —
Оторопел, и взмок, и побелел как мел,
И покачнулся.

«Сир, ты видишь: мы – Отребье,
Мы изошли слюной, на нас одно отрепье,
Мы голодаем, сир, мы все – последний сброд.
Там и моя жена – в той давке у ворот.
Явилась в Тюильри! Смешно – за хлебной коркой!
Но тесто не смесить, как палкой в грязь ни торкай!
Дал мне Господь детей – отребье, мне под стать!
И те старухи, что устали горевать,
Лишившись дочери, оплакивая сына, —
Отребье, мне под стать! Сидевший неповинно
В Бастилии и тот, кто каторгу прошел,
На воле, наконец, но каждый нищ и гол:
Их гонят, как собак, смеясь, в них пальцем тычут,
Куда бы ни пошли, их прóклятыми кличут;
Все отнято у них, вся жизнь их – сущий ад!
И вот они внизу, под окнами, вопят —
Отребье, мне под стать! А девушки, которых
Растлил придворный люд – у вас немало спорых
В подобном ремесле, ты сам такой мастак! —

Вы в душу им всегда плевали, и раз так —
Они теперь внизу! Отребье – вот их имя.

.....

Все бессловесные, все, ставшие больными,
Все, спину гнувшие безропотно на вас,
Все, все сюда пришли... Пришел их главный час!
Вот Люди, государь, ты в ноги поклонись им!
Да, мы рабочие, но больше не зависим
От всяких буржуа. Мы будущим живем,
Там станет Человек всемирным кузнецом.
Он вещи победит, он чувства обуздает,
Доищется причин и следствия узнает,
Как буйного коня, природу усмирит...
Благословен огонь, что в кузницах горит!
Довольно зла! Страшит лишь то, что неизвестно,
Но мы познаем все, чтоб мудро жить и честно.
Собратья-кузнецы, мы с молотом в руках,
Мечты осуществив, сотрем бывшее в прах!
Мы станем жить, как все, – не пожалеем пота,
Без брани и вражды, и помня, что работа
Улыбкой женскою навек освящена:
Честь воздадим труду – и он вернет сполна!
И на пути своем, удачливом и долгом,
Поймем, что счастливы, живя в согласье с долгом.
Но будем начеку – и возле очага
Не грех держать ружье, чтоб утратить врага!
.....
Запахло в воздухе отменной потасовкой!
О чем же я? О том, что этой черни ловкой —
Всем нам – теперь пора поговорить с твоим

Жульем и солдатъем... И мы поговорим!
Свободна нищета! И счастье, о котором
Я только что сказал, мы укрепим террором.
Взгляни на небеса! Они для нас тесны —
Ни воздуха вдохнуть, ни разогнуть спины.
Взгляни на небеса! А я спущусь к народу,
Где чернь и голытьба спешат на помощь сброду
Мортиры расставлять на черных мостовых:
Мы кровью смоем грязь, когда падем на них!
А если к нам на пир заявятся с дозором
Соседи-короли, то их дерьмовым сворам
Красно-коричневым, не нюхавшим петард,
Придется охладить воинственный азарт!»

.....

Он снова на плечо закинул молот.

Валом

Ходила по дворам с гуденьем небывалым
Толпа, хмелевшая от речи Кузнеца,
И улюлюкала по лестницам дворца.
Казалось, весь Париж зашелся в диком раже.
И, замолчав, Кузнец рукою в вечной саже
Так, что Людовика насквозь прошиб озноб,
Кровавый свой колпак швырнул монарху в лоб!

Перевод М. Яснова

Погибшие в дни девяносто второго

Погибшие в дни девяносто второго
«...Французы семидесятых, бонапартисты, республиканцы, вспомните ваших
отцов в девяносто втором, девяносто третьем...»

Поль Кассаньяк, «Le Pays»

Вы, погибшие в дни Девяносто второго,

Вы бледнели от ласк и объятий свобод;
Тяжесть ваших сабо разбивала оковы,
Что носил на душе и на теле народ;
Вы – эпохи ветров неумное племя,
В вашем сердце горит свет возлюбленных звезд,
О Солдаты, вас Смерть, как ядерное семя,
Щедро сеяла в пыль вдоль засохших борозд.
Вашей кровью блестят валуны на вершинах,
Кто погиб при Вальми, при Флерю, в Апеннинах —
Миллионы Христов, сонмы гаснущих глаз,
Вас оставим лежать, в сне с Республикой
слившись,
Мы – привыкшие жить, перед троном
склонившись.

Кассаньяки опять говорят нам о вас.

Перевод Б. Булаева

На музыке

Вокзальная площадь в Шарлевиле
На чахлом скверике (о, до чего он весь
Прилизан, точно взят из благонаправной книжки!)
Мещане рыхлые, страдая от одышки,
По четвергам свою прогуливают спесь.
Визгливым флейтам в такт колышет киверами
Оркестр; вокруг него вертится ловелас
И щеголь, подходя то к той, то к этой даме;
Нотариус с брелков своих не сводит глаз.
Рантье злорадно ждут, чтоб музыкант сфальшивил;
Чиновные тузы влачат громоздких жен,
А рядом, как вожак, который в сквер их вывел,
И отпрыск шествует, в воланы разряжен.

На скамьях бывшие торговцы бакалеей
 О дипломатии ведут серьезный спор
 И переводят все на золото, жалея,
 Что их советам власть не вняла до сих пор.
 Задастый буржуа, пузан самодовольный
 (С фламандским животом усесться —
 не пустяк!),
 Посасывает свой чубук: безбандерольный
 Из трубки вниз ползет волокнами табак.
 Забравшись в мураву, гогочет голоштанник.
 Вдыхая запах роз, любовное питье
 В тромбонном вое пьет с восторгом солдате
 И возится с детьми, чтоб улестить их нянек.
 Как матерой студент, неряшливо одет,
 Я за девчонками в тени каштанов томных
 Слежу. Им ясно все. Смеюсь, они в ответ
 Мне шлют украдкой взгляд, где тьма вещей нескромных.
 Но я безмолвствую и лишь смотрю в упор
 На шеи белые, на вьющиеся пряди,
 И под корсажами угадывает взор
 Все, что скрывается в девическом наряде.
 Гляжу на туфельки и выше: дивный сон!
 Сгораю в пламени чудесных лихорадок.
 Резвухи шепчутся, решив, что я смешон,
 Но поцелуй, у губ рождающийся, сладок...
Перевод Б. Ливища

Венера Анадиомена

Из ванны жестяной, как прах из домовины,
 Помадою густой просалена насквозь,
 Брюнетки голова приподнялась картинно,

Вся в мелких колтунах редяющих волос.
За холкой жирною воздвигнулись лопатки,
Увалистый крестец, бугристая спина,
Что окорок, бедро; с отвислого гузна,
Как со свечи опływ, сползают сала складки.
Вдоль впадины хребта алеют лишай.
И чтобы сей кошмар вложить в слова свои,
Понять и разглядеть – не хватит глазомера;
Прекрасножуткий зад на створки развело;
Меж буквиц врезанных – «Ярчайшая Венера» —
Пылает язвою исходное жерло.

Перевод А. Кроткова

Первый вечер

Она была почти нагою.
Деревья, пробудясь от сна,
Смотрели с миной плутовскою
В проем окна, в проем окна.
Был абрис тела в тусклом свете
Так непорочно-белокож.
Изящной ножки на паркете
Я видел дрожь, я видел дрожь.
И я, от ревности бледнея,
Смотрел, и не смотреть не мог,
Как луч порхал по нежной шее,
Груди – нахальный мотылек!
Я целовал ее лодыжки
И смехом был вознагражден;
В нем страстных молний били вспышки,
И хрусталя струился звон...
Тут, спрятав ноги под сорочку,

«Довольно!» – вскрикнула она,
Но покрывал румянец щечку.
Я понял: дерзость прощена.
Ресницы черные всплеснули,
Мой поцелуй коснулся глаз;
Она откинулась на стуле:
«Вот так-то лучше, но сейчас
Послушай...» – прошептало эхо,
А я молчал, целуя грудь,
И был наградой приступ смеха,
Не возражавший мне ничуть...
Она была почти нагою.
Деревья, пробудясь от сна,
Смотрели с миной плутовскою
В проем окна, в проем окна.
Перевод Ю. Лукача

Ответ Нины

ОН: – Что медлим – грудью в грудь
с тобой мы?

А? Нам пора
Туда, где в луговые поймы
Скользят ветра,
Где синее вино рассвета
Омоет нас;
Там рощу повергает лето
В немой экстаз;
Капель с росистых веток плещет,
Чиста, легка,
И плоть взволнованно трепещет
От ветерка;

В медунку платье скинь с охоткой
И в час любви
Свой черный, с голубой обводкой,
Зрачок яви.
И ты расслабишься, пьянея, —
О, хлынь, поток,
Искрящийся, как шампанея, —
Твой хохоток;
О, смейся, знай, что друг твой станет
Внезапно груб,
Вот так! – Мне разум затуманит
Испитый с губ
Малины вкус и земляники, —
О, успокой,
О, высмей поцелуй мой дикий
И воровской —
Ведь ласки поросли шиповной
Столь горячи, —
Над яростью моей любовной
Захохочи!..
Семнадцать лет! Благая доля!
Чист окоём,
Любовью дышит зелень поля.
Идем! Вдвоем!
Что медлим – грудью в грудь с тобой мы?
Под разговор
Через урочища и поймы
Мы вступим в бор,
И ты устанешь неизбежно,
Бредя в лесу,

И на руках тебя так нежно
Я понесу...
Пойду так медленно, так чинно,
Душою чист,
Внимая птичье андантино:
«Орешный лист...»
Я брел бы, чуждый резких звуков,
В тени густой.
Тебя уютно убаюкав,
Пьян кровью той,
Что бьется у тебя по жилкам,
Боясь шепнуть
На языке бесстыдно-пылком:
Да-да... Чуть-чуть...
И солнце ниспошлет, пожалуй,
Свои лучи
Златые – для зелено-алой
Лесной парчи.
Под вечер нам добраться надо
До большака,
Что долго тащится, как стадо
Гуртовщика.
Деревья в гроздьях алых пятен,
Стволы – в смолье,
И запах яблок сладко внятен
За много лье.
Придем в село при первых звездах
Мы напрямиком,
И будет хлебом пахнуть воздух
И молоком;

И будет слышен запах хлева,
Шаги коров,
Бредущих на ночь для сугрева
Под низкий кров;
И там, внутри, сольется стадо
В массив один,
И будут гордо класть говяда
За блином блин...
Очки, молитвенник старушки
Вблизи лица;
По край напеленные кружки
И жбан пивца;
Там курят, ожидая пищи,
Копя слюну,
Надув тяжелые губищи
На ветчину,
И ловят вилками добавку:
Дают – бери!
Огонь бросает блик на лавку
И на лари,
На ребятенка-замарашку,
Что вверх задком,
Сопя, вылизывает чашку
Пред камельком,
И тем же озаряем бликом
Мордатый пес,
Что лижет с деликатным рыком
Дитенка в нос...
А в кресле мрачно и надменно
Сидит карга

И что-то вяжет неизменно
У очага;
Найдем, скитаясь по хибаркам,
И стол, и кров,
Увидим жизнь при свете ярком
Горящих дров!
А там, когда сгустятся тени,
Соснуть не грех —
Среди бушующей сирени,
Под чей-то смех...
О, ты придешь, я весь на страже!
О, сей момент
Прекрасен, несравнен, и даже...
ОНА: – А документ?
Перевод Е. Витковского

Обомлевшие

Где снег ночной мерцает ало,
Припав к отдушине подвала,
Задки кружком, —
Пять малышей – бедняги! – жадно
Глядят, как пекарь лепит складно
Из теста ком.
Им видно, как рукой искусной
Он в печку хлеб сажает вкусный,
Желтком облив.
Им слышно: тесто поспекает,
И толстый пекарь напевает
Простой мотив.
Они все съежились в молчанье...
Большой отдушины дыханье

Тепло, как грудь!
Когда же для ночной пирушки
Из печки калачи и плюшки
Начнут тянуть
И запоют у переборок
Ряды душистых сдобных корок
Вслед за сверчком, —
Что за волшебное мгновенье,
Вслед за сверчком, —
Что за волшебное мгновенье,
Душа детишек в восхищенье
Под их тряпьем.
В коленопреклоненной позе
Христосики в ночном морозе
У дырки той,
К решетке рожницы вплотную,
За нею видят жизнь иную,
Полны мечтой.
Так сильно, что трещат штанишки,
С молитвой тянутся глупышки
В открытый рай,
Который светлым счастьем дышит.
А зимний ветер им колышет
Рубашки край.
Перевод М. Усовой

Роман

1

Нет рассудительных людей в семнадцать лет!
Июнь. Вечерний час. В стаканах лимонады.
Шумливые кафе. Кричаще-яркий свет.

Вы направляетесь под липы эспланады.
Они теперь в цвету и запахом томят.
Вам хочется дремать блаженно и лениво.
Прохладный ветерок доносит аромат
И виноградных лоз, и мюнхенского пива.

2

Вы замечаете сквозь ветку над собой
Обрывок голубой тряпицы с неумело
Приколотой к нему мизерною звездой,
Дрожащей, маленькой и совершенно белой.
Июнь! Семнадцать лет! Сильнее крепких вин
Пьянит такая ночь... Как будто бы спросонок,
Вы смотрите вокруг, шатаетесь один,
А поцелуй у губ трепещет, как мышонок.

3

В сороковой роман мечта уносит вас...
Вдруг – в свете фонаря, – прервав виденья ваши,
Проходит девушка, закутанная в газ,
Под тенью страшного воротника папаши.
И, находя, что так растерянно, как вы,
Смешно бежать за ней без видимой причины,
Оглядывает вас... И замерли, увы,
На трепетных губах все ваши каватины.

4

Вы влюблены в нее. До августа она
Внимает весело восторженным сонетам.
Друзья ушли от вас: влюбленность им смешна.
Но вдруг... ее письмо с насмешливым ответом.
В тот вечер... вас опять влекут толпа и свет...
Вы входите в кафе, спросивши лимонаду...

Нет рассудительных людей в семнадцать лет
Среди шлифующих усердно эспланаду!

Перевод Б. Лившица

Зло

Меж тем как красная харкотина картечи
Со свистом бороздит лазурный небосвод
И, слову короля послушны, по-овечьи
Бросятся полки в огонь, за взводом взвод;
Меж тем как жернова чудовищные бойни
Спешат перемолоть тела людей в навоз
(Природа, можно ли взирать еще спокойней,
Чем ты, на мертвецов, гниющих между роз?) —
Есть бог, глумящийся над блеском напрестольных
Пелен и ладаном кадилъниц. Он уснул,
Осанн торжественных внимая смутный гул,
Но вспрянет вновь, когда одна из богомольных
Скорбящих матерей, припав к нему в тоске,
Достанет медный грош, завязанный в платке.

Перевод Б. Лившица

Ярость цезарей

Бредет среди куртин мужчина, бледный видом,
Одетый в черное, сигарный дым струя,
В мечтах о Тюильри он счет ведет обидам,
Порой из тусклых глаз бьют молний остря.
О, император сыт, – все двадцать лет разгула
Свободе, как свече, твердил: «Да будет тьма!» —
И задувал ее. Так нет же, вновь раздуло —
Свобода светит вновь! Он раздражен весьма.
Он взят под стражу. – Что бормочет он угрюмо,
Что за слова с немых вот-вот сорвутся уст?

Узнать не суждено. Взор властелина пуст.
Очкастого, поди, он вспоминает кума...
Он смотрит в синеву сигарного дымка,
Как вечером в Сен-Клу глядел на облака.

Перевод Е. Витковского

Зимние мечтания

Наш розовый вагон обит небесным шелком —
Войди и позови;
Нам будет хорошо: сошьем уютно, с толком
Мы гнездышко любви.
Ты заслонишь глаза ручонкою проворной —
Тебе глядеть невмочь
Туда, где за окном волчиной стаей черной
Гримасничает ночь.
Потом ты ощутишь: слегка горит щека;
То легкий поцелуй, как лапки паучка,
Бегущего по нежной шее;
И, голову склоня, ты мне велишь: «Найди!»,
И будем не спеша – дорога впереди —
Ловить бродячего злодея...

Перевод А. Кроткова

Уснувший в ложбине

В прогале меж деревьев серебряно блистая,
Река поет и бьет о берег травяной;
На солнечном огне горит гора крутая,
В ложбине у реки клубится жар дневной.
Спит молодой солдат, упав затылком в травы,
На ложе земляном – его удобней нет;
Рот приоткрыт слегка, и волосы курчавы,

По бледному лицу стекает теплый свет.
Он спит. Он крепко спит. И видит сны земные —
С улыбкой слабою, как малыши больные;
Согреться бы ему – земля так холодна;
Не слышит он во сне лесного аромата;
К недышащей груди ладонь его прижата —
Там с правой стороны два кровавых пятна.

Перевод А. Кроткова

В зеленом кабаре

Шатаюсь восемь дней, я изорвал ботинки
О камни и, придя в Шарлеруа, засел
В «Зеленом кабаре», спросив себе тартинки
С горячей ветчиной и с маслом. Я глядел,
Какие скучные кругом расселись люди,
И, ноги протянув далеко за столом
Зеленым, ждал – как вдруг утешен был во всем,
Когда, уставив ввысь громаднейшие груди,
Служанка-девушка (ну! не ее смутит
Развязный поцелуй) мне принесла на блюде,
Смеясь, тартинок строй, дразнящих аппетит,
Тартинок с ветчиной и с луком ароматным,
И кружку пенную, где в янтаре блестит
Светило осени своим лучом закатным.

Перевод В. Брюсова

Испорченная

Трактира темный зал, и запахи его —
Плоды и виноград – мне будоражат чресла.
В тарелку положив – не знаю я, чего;
Блаженствовал теперь в огромном чреве кресла.

Я слышу бой часов и с наслажденьем ем;
Но запахнулась дверь – аж затрещали доски,
Служаночка вошла – не знаю я, зачем:
Косынка набекрень, испорчена прическа.
Мизинцем проведя по розовой щеке,
Подумала она, должно быть, о грешке;
Припухшая губа пылала что есть силы.
Дотронулась мельком до моего плеча,
И, верно поцелуй возжаждала, шепча:
«Смотри-ка, холодок на щечку я словила...»

Перевод Б. Булаева

Блестящая победа под Саарбрюккеном,

одержанная под возгласы «Да здравствует император!» – бельгийская роскошно раскрашенная гравюра, продается в Шарлеруа, цена 35 сантимов

Голубовато-желт владыка в бранной славе,
Лошадку оседлал и вот – сидит на ней;
Мир видеть розовым он нынче в полном праве.
Он кротче папочки, Юпитера грозней.
Служивые стоят и отдыхают сзади,
При барабанчиках и пушечках найдя
Покоя миг. Питу, в мундире, при параде,
От счастья обалдел и смотрит на вождя.
Правее – Дюманэ, зажав приклад винтовки,
Пострижен бобриком, при всей экипировке,
Орет: «Да здравствует!» – вот это удалство!..
Блистая, кивер взмыл светилом черным... Рядом
Лубочный Ле-Соруб стоит к воякам задом
И любопытствует: «Случайно, не того?..»

Перевод Е. Витковского

Дубовый, сумрачный и весь резьбой увитый,
Похож на старика объемистый буфет;
Он настезь растворен, и сумрак духовитый
Струится из него вином далеких лет.
Он уместить сумел, всего себя натужив,
Такое множество старинных лоскутков,
И желтого белья, и бабушкиных кружев,
И разукрашенных грифонами платков;
Здесь медальоны, здесь волос поблекших прядки,
Портреты и цветы, чьи запахи так сладки
И слиты с запахом засушенных плодов, —
Как много у тебя, буфет, лежит на сердце!
Как хочешь ты, шурша тяжелой черной дверцей,
Поведать повести промчавшихся годов!

Перевод Е. Витковского

Моя богемная жизнь

(Фантазия)

Запрятав кулаки по продранным карманам,
В роскошнейшем пальто – с него весь ворс облез —
Я с Музой бродил под куполом небес,
И мыслями летел к любимым и желанным!
Как Мальчик-с-пальчик – я, волнуясь и спеша,
Бросал зерно стихов – проростки вящей славы;
И, подтянув штаны – потерты и дырявы —
Я отдыхал в горсти Небесного Ковша.
Я слышал шорох звезд в густой пыли обочин;
Был каплями росы мне прямо в лоб вколочен
Густой могучий хмель сентябрьского вина;
Взирая на свои разбитые ботинки,
На лире я бряцал – тянул чулков резинки,

И рифменным огнем душа была пьяна!

Перевод А. Кроткова

Вороны

Господь, когда равнина стыла,
Когда в сожженных хуторах
Мечи устали сеять страх,
Мечи устали сеять страх,
На мертвую натуру с тыла
Спошли любезное свое
Блистательное воронье.
Лететь навстречу катастрофам —
Вот ваш от бури оберег!
Летите вдоль иссохших рек
И вдоль путей к седым голгофам,
Вдоль рвов и ям, где плещет кровь;
Рассыпьтесь и сберитесь вновь!
Кружитесь, тысячные стаи,
Слетясь зимой со всех концов,
Над тьмой французских мертвецов,
Живых к раздумью призывая!
О, вестник – совести тиран,
О, похоронный черный вран!
С небес сошедшие святые,
Рассевшись в сумраке гаёв,
Оставьте майских соловьев
Для тех, кого леса густые
Сковали путами травы —
Для тех, кто навсегда мертвы.

Перевод Б. Булаева

Восседающие в креслах

В провалах зелени сидят тупые зенки.
Недвижимая длань пришпилена к бедру.
Проказой-плесенью, как на замшелой стенке,
Испятнана башка – на ней бугор к бугру.
Уродливый костяк изломан, как в падучей.
А кресла – прутяной изогнутый обвод —
С утра до вечера баюкают скрипуче
Ублюдочную плоть, невыношенный плод.
Седалища чудил просижены до блеска —
Сверкают так, что хоть обойщика зови.
И поседелых жаб потряхивает резко
Злой озноб снеговой в негреющей крови.
Так безмятежен дух коричневой истомы,
Так немощь их телес заносчиво глуха —
Как будто, затаясь в набивке из соломы,
Им летний зной согрел вместилище греха.
А пальцам скрюченным и ныне почему бы
Побудку не сыграть, со страстью закрутив?
Нет, намертво свело – в колени вбиты зубы,
И брякает в ушах кладбищенский мотив.
Попытка чуть привстать для них подобна смерти.
Как злобные коты на схватке удалой,
Трясут лопатками и фыркают, что черти.
Но гаснет пыл бойцов – штаны ползут долой.
Заслышат чужака – трепещут ног кривули,
Наставят лысины бодливые быки.
И пуговицы их, летя, разят как пули,
И сверлят вас насквозь их дикие зрачки.
Глаза побитых псов отравую плюются;
Вас волокут на дно, победно вереща;

Незримые клешни мечтают дотянуться
До теплой слабины гортанного хряща.
Укрывши кулаки под бахромою сальной
Обтрепанных манжет, совеют упыри.
Им будоража нюх, как аромат миндальный,
Желанье мщенья вздувает пузыри.
Когда суровый сон им веки плотно смежит —
Подсунув плети рук под любострастный зад,
Соитьем с креслами седая грезит нежить,
Приумноженьем тех, на чем они сидят.
Краями бороды зудящий член тревожа,
Стрекозам вслед заслав плевки густых чернил,
Пыльцою запятых усеянные, рожи
Насилуют того, кто их обременил.

Перевод А. Кроткова

Голова фавна

В листве, в шкатулке зелени живой,
В листве, в цветущем золоте, в котором
Спит поцелуй, – внезапно облик свой
Являя над разорванным узором
Орнамента, глазастый фавн встает,
Цветок пурпурный откусив со стебля,
Вином окрасив белозубый рот,
Хочет, тишину ветвей колебля:
Мгновение – и дерзок, и упрям,
Он белкой мчится прочь напропалую,
И трудно, как на ветках снегирам,
Опять уснуть лесному поцелую.

Перевод Е. Витковского

Таможенники

Честящие: «К чертям!», цедящие: «Плевать!»,
Вояки, матросня – отбросы и крупницы
Империи – ничто пред Воинством Границы,
Готовым и лазурь вспороть и обыскать.
С ножом и трубкою, с достоинством тупицы
И псом на поводке – едва начнет опять
Лес мглой, как бык слюной, на травы истекать —
На пиршество свое таможенник стремится!
Для нимф и для людей – един его закон.
Фра Дьяволо схватив и Фауста в потемках,
«Стой, – рявкнет, – старичье! Ну, что у вас в котомках?»
И, глазом не моргнув, любой красотке он
Досмотр устроит: все ли прелести в порядке?
И под его рукой душа уходит в пятки!
Перевод М. Яснова

Вечерняя молитва

Прекрасный херувим с руками брадобрея,
Я коротаю день за кружкой резной;
От пива мой живот, вздуваясь и жирея,
Стал сходен с парусом над водной пеленой.
Как в птичнике помет дымится голубиный,
Томя ожогами, во мне роятся сны,
И сердце иногда печально, как рябины,
Окрашенные в кровь осенней желтизны.
Когда же, тщательно все сны переварив
И весело себя по животу похлопав,
Встаю из-за стола, я чувствую позыв...
Спокойный, как творец и кедра и иссопов,
Пускаю ввысь струю, искусно окропив
Янтарной жидкостью семью гелиотропов.

Перевод Б. Лившица

Военная песня парижан

Весна являет нам пример
Того, как из зеленой чащи,
Жужжа, летят Пикар и Тьер,
Столь ослепительно блестящи!
О Май, сулящий забытье!
Ах, голые зады так ярки!
Они в Медон, в Аньер, в Банье
Несут весенние подарки!
Под мощный пушечный мотив
Гостям маршировать в привычку;
В озера крови напустив,
Они стремят лихую гичку!
О, мы ликуем – и не зря!
Лишь не выглядывай из лазов:
Встает особая заря,
Швырясь кучами топазов!
Тьер и Пикар!.. О, чье перо
Их воспоеет в достойном раже!
Пылает нефть: умри, Коро,
Превзойдены твои пейзажи!
Могучий друг – Великий Трюк!
И Фавр, устроившись меж лилий,
Сопеньем тешит всех вокруг,
Слезой рыдает крокодилей.
Но знайте: ярость велика
Объятой пламенем столицы!
Пора солидного пинка
Вам дать пониже поясницы.

А варвары из деревень
Желают вам благополучья:
Багровый шорох в скорый день
Начнет ломать над вами сучья.

Перевод Е. Витковского

Мои красоточки

Зеленоватый, как в июне
Капустный срез,
Сочится щелок, словно слюни,
На вас с небес,
Дождевики пятнает ваши,
Как жир колбас;
Уродки, вздерните гамаша —
И живо в пляс!
С голубкой снюхались мы сладко,
Соитьем губ!
С уродкой ели яйца всмятку
И суп из круп!
Белянка вызнала поэта
Во мне – тоска!
А ну, пригнись – тебе за это
Я дам пинка;
Помадой, черная сучара,
Смердишь – сблую!
Ты продырявила гитару
Насквозь мою.
Я рыжую слюнявил свинку,
Как блудодей,
Заразой капая в ложбинку
Промеж грудей!

Я ненавижу вас, дурнушки,
До спазма вен!
Попрячьте титьки-погремушки
В корсажный плен!
И чувства, словно в ссоре плоски,
Крошите вдрызг;
А ну-ка – на пуанты, кошки,
И – громче визг!
Все наши вязки, наши случки
Забывать бы рад!
Прямее спины! Выше, сучки,
Клейменный зад!
И я для вас, мои милашки,
Слагал стишки?
Переломать бы вам костяшки,
Вспороть кишки!
В углах вяжите, паучихи,
Узлы тенёт!
И сам Господь в беззвездном чихе
Вам подмигнёт!
Луна раскрасит рожи ваши,
Как пиалы;
Уродки, вздерните гамаша —
Вы так милы!
Перевод А. Кроткова

Приседания

Полдневный час; в кишках почувствовав укол,
Таращится монах в келейное оконце;
Сияя, как песком начищенный котел,
Ему потухший взгляд дурманит злое солнце;

И головная боль, и так живот тяжел...
Ему не по себе – не греет одеяло;
Сползает с койки прочь, в коленях дрожь сильна;
Пожадничал старик за трапезой немало —
Да мал ночной горшок для грузного гузна;
Рубаху бы задрать повыше не мешало!
Дрожа, едва присел; ступнями в камень врос,
И пальцы на ногах заledenели резко;
На стеклах – желтизна, их выцветил мороз;
Он фыркает, кривясь от солнечного блеска —
Пасхального яйца алей бугристый нос.
Он вытянул к огню дрожащую десницу;
Отвисшая губа; тепло зудит в паху;
Штаны раскалены; назойливая птица
Тревожит изнутри больную требуху;
Он хочет закурить, да трубка не дымится.
Вокруг царит развал: убогий старый хлам,
Лохмотьями кичась, храпит на грязном брюхе;
Скрипучие скамьи по мусорным углам
Укрылись, как в траве огромные лягухи;
Буфет, оголодав, рвет пасть напополам.
И тошнотворный смрад, как тинное болото,
Всю келью затопил, и в черепе – труха;
Щетиной заросла щека, мокра от пота;
И ходит ходуном скамья – не без греха,
И бьет по кадыку тяжелая икота.
А вечером, когда накроет сад луна —
А вечером, когда накроет сад луна —
На розовом снегу рисуясь тенью серой,
Присядет задница, огнем окаймлена,

И любопытный нос, притянутый Венерой,
Уткнется в синь небес, не ведающих дна.

Перевод А. Кроткова

Семилетние поэты

По книге назубок ответил, как всегда —
И матушка ушла, довольна и горда;
Ей было невдомек: давно с души у сына
Воротит и претит вся эта мертвечина.
Послушен и умен – прилежный ученик,
Но морщивший лицо короткий нервный тик
Показывал, что в нем живет нелегкий нор; —
Меж плесневелых стен, во мраке коридоров
Высовывал язык, кулак сучил порой,
И, веки опустив, мушиный видел рой;
День подходил к концу, ночь тишину дарила —
Он злобно бормотал, усевшись на перила;
Его всегда томил палящий летний зной —
Тупея от жары, подавленный и злой,
В прохладе нужника он вечным постояльцем
Спокойно размышлял, в носу копая пальцем.
Зимою холода смывали летний смрад —
Он молча уходил в полузросший сад,
Садился под стеной, чьи каменные глыбы
Слой извести скрывал, и с видом снулой рыбы
Он слушал, как столбы подгнившие скрипят...
Знакомство он водил с оравой ребят:
Некормлены, худы, глазасты и патлаты,
Обряжены в тряпье – кругом одни заплаты,
На лицах желтизна, в коросте кулачки,
Изыществом речей гордились дурачки!

К мальчишкам он питал сочувственную жалость,
Мать заставляла их – и донельзя пугалась;
Он следовал за ней, покорен и учтив,
А материнский взор невинен был – но лжив!
В семь лет он сочинял наивные романы
Про вольные леса, пустыни и саванны,
В романах излагал, что вычитал и знал;
Краснея, он листал пленительный журнал —
Как были хороши, смешливы, страстны, кротки
В нестрогих платьицах заморские красотки.
– А в восемь лет ему подбросила судьба
Подружку, что была бесстыдна и груба;
Возились в уголку; тряслись ее косицы;
Он, изловчась, кусал ее за ягодицы —
Девчонка сроду не носила панталон —
И детской кожи вкус на деснах чуял он,
И, получив пинок, сбегал от потрясений.
Его страшил покой декабрьских воскресений;
Причесан, приедет – часами напролет
Он Библию читал; зеленый переплет
Мерещился во сне; от нелюбови к Богу
Он не переживал; почаству и помногу
На улицу глядел – усталые, в пыли,
Рабочие домой через предместье шли;
Разносчики газет, вертясь волчками в спешке,
Кричали новости – в ответ неслись насмешки.
– А он не мог изгнать из детской головы
Свет золотых небес, дух луговой травы.
Порой он смаковал неясных мыслей ворох,
И в комнате пустой, при запыленных шторах,

От сырости дрожа, при свете каганца
Читал он свой роман и думал без конца
Про огненный закат, про лес в плену прилива,
Про плоть цветущих звезд, что блещут похотливо;
Кружилась голова, слабел и бормотал!
За окнами шумел и сплетничал квартал,
– А он, совсем один, на ложе грубой ткани
Упорно прозревал свой парус в океане!

Перевод А. Кроткова

Бедняки в церкви

В загоне на скамьях дубовых восседаю,
Дыханием смердя, они вперяют взор
Туда, где золотом в смирении блистая,
На двадцать голосов псалмы горланит хор.
Благоухает воск – им мнится запах хлеба,
И с видом битых псов сонм бедняков блажных
Возносит к Господу, царю земли и неба,
Тщету своих молитв, упорных и смешных.
Бабенки задницей лощат охотно скамьи:
Шесть дней дотоль Господь их заставлял страдать!
И плачущих детей с дрожащими руками
Спешат они в тряпьё плотнее замотать.
Наружу грудь торчит, замызгана от супа,
Глаза, где не горит молитва среди зениц,
Стремят они туда, где щеголяет группа
В бесформенных «шляпо» беспутных молодежи.
Там – голод и дубак, муж, пьяница синюшный,
А здесь так хорошо, что места нет для зла,
Но холодно вокруг, галдеж и шепот скучный,
Елозят грузные старушечьи тела.

Припадочные здесь, увечные толкутся,
Они противны вам, коль клянчат у дверей,
Носами в требники не преминут уткнуться
Все подопечные собак-поводырей.
Слюною исходя бездумной веры нищей,
Бормочут без конца воззвания к Христу,
Который грезит там, в превыспреннем жилище,
Взирая свысока на эту нищету,
На толстых и худых, на грязных рубищ плесень,
На сей нелепый фарс, укутанный во мглу;
Цветиста проповедь, ей свод церковный тесен,
Все ширится она в мистическом пылу,
А в нефе храмовом, где солнце умирает,
В банальном капоре по-ханжески Мадам
На печень хворую – о Господи! – пеняет,
Лизнув святой воды, текущей по перстам.

Перевод А. Триандафилиди

Украденное сердце

Рвет кровью сердце, словно в качку,
Рвет кровью молодость моя:
Здесь бьют за жвачку и за жрачку,
Рвет кровью сердце, словно в качку,
В ответ на вздрючку и подначку,
На зубоскальство солдата.
Рвет кровью сердце, словно в качку,
Рвет кровью молодость моя!
Срамной, казарменный, солдатский,
Их гогот пьян, а говор прян.
Здесь правит судном фаллос адский,
Срамной, казарменный, солдатский.

Волною абракадабратской
Омой мне сердце, океан!
Срамной, казарменный, солдатский,
Их гогот пьян, а говор прян!
Сжевав табак, не за тебя ли,
О сердце, примутся они?
Рыгая, примутся в финале,
Сжевав табак, не за тебя ли?
Меня тошнит; тебя украли —
Как ни лелей и ни храни.
Сжевав табак, не за тебя ли,
О сердце, примутся они?

Перевод М. Яснова

Парижская оргия, или Столица заселяется вновь

Мерзавцы, вот она! Спешите веселиться!
С перронов – на бульвар, где все пожгла жара.
На западе легла священная столица,
В охотку варваров ласкавшая вчера.
Добро пожаловать сюда, в оплот порядка!
Вот площадь, вот бульвар – лазурный воздух чист,
И выгорела вся звездистая взрывчатка,
Которую вчера во тьму швырял бомбист!
Позавчерашний день опять восходит бодро,
Руины спрятаны за доски кое-как;
Вот – стадо рыжее для вас колышет бедра.
Не церемоньтесь! Вам безумство – самый смак!
Так свора кобелей пустовку сучью лижет —
К притонам рветесь вы, и мнится, всё вокруг
Орет: воруй и жри! Тьма конвульсивно движет
Объятия свои. О, скопище пьянчуг,

Пей – до бесчувствия! Когда взойдет нагая
И сумасшедшая рассветная заря,
Вы будете ль сидеть, над рюмками рыгая,
Бездумно в белизну слепящую смотря?
Во здравье Женщины, чей зад многоэтажен!
Фонтан блевотины пусть брызжет до утра —
Любуйтесь! Прыгают, визжа, из дыр и скважин
Шуты, венерики, лакеи, шулера!
Сердца изгажены, и рты ничуть не чище —
Тем лучше! Гнусные распахивайте рты:
Не зря же по столам наставлено винище —
Да, победители слабы на животы.
Раздуйте же ноздрю на смрадные опивки;
Канаты жирных шей отравой увлажня!
Поднимет вас поэт за детские загривки
И твердо повелит: «Безумствуй, сволочня,
Во чрево Женщины трусливо рыла спрятав
И не напрасно спазм провидя впереди,
Когда вскричит она и вас, дегенератов,
Удавит в ярости на собственной груди.
Паяца, короля, придурка лизоблюда
Столица изблюет: их тело и душа
Не впору и не впрок сей Королеве Блуда —
С нее сойдете вы, сварливая парша!
Когда ж вы скорчитесь в грязи, давясь от страха,
Скуля о всех деньгах, что взять назад нельзя,
Над вами рыжая, грудастая деваха
Восстанет, кулаком чудовищным грозя!»
Когда же было так, что в грозный танец братьев,
Столица, ты звала, бросаясь на ножи,

Когда же пала ты, не до конца утратив
В зрачках те дни весны, что до сих пор свежи,
Столица скорбная, – почти что город мертвый, —
Подъемлешь голову – ценой каких трудов!
Открыты все врата, и в них уставлен взор твой,
Благословимый тьмой твоих былых годов.
Но вновь магнитный ток ты чувствуешь, в каждом нерве,
И, в жизнь ужасную вступая, видишь ты,
Как извиваются синеющие черви
И тянутся к любви остывшие персты.
Пусть! Венозный ток спастических извилин
Беды не причинит дыханью твоему —
Так золото горных звезд кровососущий филин
В глазах кариатид не погрузит во тьму.
Пусть потоптал тебя насильник – жребий страшен,
Пусть знаем, что теперь нигде на свете нет
Такого гноища среди зеленых пашен, —
«О, как прекрасна ты!» – тебе речет поэт.
Поэзия к тебе сойдет среди ураганов,
Движеньем сил живых подымет вновь тебя —
Избранница, восстань и смерть отринь, воспрянув,
На горне смолкнувшем побудку вострубя!
Поэт поднимется и в памяти нашарит
Рыданья каторги и городского дна —
Он женщин, как бичом, лучом любви ошпарит
Под канонадой строф, – держись тогда, шпана!
Все стало на места: вернулась жизнь былая,
Бордели прежние, и в них былой экстаз —
И, меж кровавых стен горячечно пылая,
В зловещей синеве шипит светильный газ.

Перевод Е. Витковского

Руки Жанны-Мари

Они, большие эти руки,
В чью кожу въелась чернота,
И нынче, бледные от муки,
Твоим, Хуана, не чета.
Не кремы и не притиранья
Покрыли темной негой их,
Не сладострастные купанья
В прудах агатовых ночных.
Они ли жаркий луч ловили
В истоме в безмятежный час?
Сигары скручивали или
Сбывали жемчуг и алмаз?
К пылающим стопам Мадонны
Они ли клали свой букет?
От черной крови белладонны
Мерцает в их ладонях свет.
Охотницы ли на двукрылых
Среди рассветно-синих трав,
Когда нектарник приманил их?
Смесительницы ли отрав?
Какой, пленяя страстью адской,
Их обволакивал угар,
Когда мечтою азиатской
Влекли Сион и Кенгавар?
Нет, не на варварских базарах,
Не за молитвою святой
И не за стиркою загар их
Покрыл такую смуглотой.

Нет, это руки не служанки
И не работницы, чей пот
В гнилом лесу завода, жаркий,
Хмельное солнце дегтя пьет.
Нет, эти руки-исполины,
Добросердечие храня,
Бывают гибельней машины,
Неукротимее коня!
И, раскаляясь, как железо,
И сотрясая мир, их плоть
Споет стократно Марсельезу,
Но не «Помилуй нас, Господь!»
Без милосердия, без потачки,
Не пожалев ни шей, ни спин,
Они смели бы вас, богачки,
Всю пудру вашу, весь кармин!
Их ясный свет сильнее религий,
Он покоряет всех кругом,
Их каждый палец солнцеликий
Горит рубиновым огнем!
Остался в их крови нестертый
Вчерашний след рабов и слуг,
Но целовал Повстанец гордый
Ладони смуглых этих Рук,
Когда любви мятежной сила
В толпе, куда ни поглядишь,
Их, побледневших, проносила
На митральезах сквозь Париж!
О Руки! Нынче на запястьях
У вас блестит, звеня, металл.

Мы раньше целовали всласть их —
Теперь черед цепей настал.
И не сдержать нам тяжелой дрожи,
Не отвести такой удар,
Когда сдирают вместе с кожей,
О Руки, ваш святой загар!

Перевод М. Яснова

Сестры милосердия

Прекрасный юноша, герой широкоплечий,
Со смуглой кожей и взором огненным,
Тот, кто сумел бы стать неслышанным Предтечей
В далекой Персии, простертой перед ним;
Еще неискушен, несдержан, не обужен
Ничем, но увлечен подспудной новизной,
Как юный вал морской, на ложе из жемчужин
Раскипятившийся под летнею грозой, —
Прекрасный юноша измерит бездну злобы
И мерзости людской, и примется взывать,
Израненный, к сестре, к спасительнице, чтобы
Ее сестрою милосердия назвать.
Но, Женщина, тебе, о ненасытный потрох,
Не стать такой Сестрой, и не обманут взгляд
Ни ночь твоих бровей, ни тень пушка на бедрах,
Ни пальцы легкие, ни груди, что блазнят.
Ты спишь, открыв глаза, ослепшая навеки,
Но тщетно мы к тебе стараемся припасть:
Ты – млекогрудая, а молишь нас о млеке,
И это мы тебя укачиваем всласть.
За всю мороку, что тебе досталась в прошлом,
За каждый обморок, за ненависть и ложь,

Зла не держащая, ты все же воздаешь нам —
Всей кровью месячных до капли воздаешь!
Несчастный в ужасе; об этом тяжком грузе
Он вовсе не мечтал и, жаждущий высот,
Спешит на зов судьбы – припасть к зеленой Музе,
От Справедливости он соучастья ждет.
Но эти две Сестры – соперницы доуки,
Всю душу изглодав, исчезнут без следа,
И горестным лицом в кормилицыны руки
Природы благостной уткнется он тогда.
И что ж? Ни магии, ни вере не по силам
Беднягу исцелить, утешить гордеца,
И в одиночестве унылом и постылом
Он ждет безропотно грядущего конца, —
Все грезы перебрав и тихо встав у гроба,
Все в мире истины пройдя за пядью пядь,
К тебе, о Смерть, к тебе он обернется, чтобы
Тебя сестрою милосердия назвать!

Перевод М. Яснова

Гласные

А – черное, И – красное, О – голубое,
Е – жгуче-белое, а в У – зеленый цвет.
Я расскажу вам все! А – черный панцирь бед,
Рой мух над трупом, море тьмы ночное.
Е – парус белый, белый блеск побед,
В алмазах снег, сиянье ледяное,
Пух одуванчика! И – жало злое,
Усмешка губ, хмель крови, алый бред.
У – дрожь зеленых волн и вздох кручины;
Зеленые луга; упрямые морщины

Твои, алхимик, сумрачного лба...
О – звонкая архангела труба:
Она пронзает скрежетом – пучины!
Омега... Синие – твои глаза, Судьба!

Перевод И. Тхоржевского

«Розовослезная звезда, что пала в уши...»

Розовослезная звезда, что пала в уши.
Белопростершейся спины тяжелый хмель.
Краснослиянные сосцы, вершины суши.
Чернокровавая пленительная щель.

Перевод Е. Витковского

Праведник

(Фрагмент)

Как проглотив аршин, являя строгий норов,
Сидел он, златолик; а я твердил в поту:
«Ты хочешь созерцать сверканье метеоров?
Жужжанье млечных звезд подслушать на лету?
Учуять бег планет в безмолвии просторов?
Твой лоб ночная блажь изрыла, словно крот.
Святой, вернись под кров и помолись прилежно,
Умильно покривясь, прикрой ладонью рот;
А блудный твой клевет толкнет тебя небрежно —
Скажи: подале, брат! я сломлен, я урод!»
Святой остался прям – от сокровенной боли
Тревожась, голубел, как сумеречный луг...
«О чертов слезокап, продай свои мозоли,
О гефсиманский страж, певец бретонских вьюг,
Защитый в благодать – благослови нас, что ли!
Семейный патриарх и городской тиран,

Ты сердце обмакнул в Грааля кровь святую,
Величьем ослеплен, слепой любовью пьян;
Я уязвлен тобой, и ныне я бунтую —
Ты гаже сотни сук, глупей, чем Калибан!
Смеюсь и слезы лью; глупец! твоих обеден
Не надобно – принять прощенье не смогу;
Я проклят навсегда, я пьян, безумен, бледен;
Мне мерзко все, что спит в твоём тупом мозгу;
Усни и ты, святой! Покой тебе не вреден.
Ты свят, о да, ты свят! В нелепостях белесых
И скопческим умом, и нежностью шурша,
Ты фыркать норовишь, как гурт китов безносых;
Спеша себя изгнать, отпеть себя спеша,
Ты вдребезги разбил свой кривоватый посох!
Господень Зрак, ты – трус! Я эту тайну выдам —
Пускай смертельный хлад божественных ступней
Дыханье мне собьет... Твой лоб запродан гнидам!
Сократ и Иисус, святые давних дней,
В ночи воздайте честь Тому, Кто мерзок видом!»
Надрывно я кричал, а ночь была светла
И благодатна; меня трепала лихорадка;
И призрак просквозил вдоль потного чела,
И злобу с губ кривых омыл он без остатка...
– О темные ветра, кляните Князя Зла!
Я стану слушать вас в немеющих просторах
Лазури, где, хвосты кометам удлиня,
Порядок, вечный страж, толчками вёсел спорых
Плывет сквозь океан небесного огня
И бреднем по пути сгребает звездный ворох!
Исчезни поскорей, постыдная удавка!

Томительная сладость прожеванной тоски
Впивается в десну, как жадная пиявка —
Так зализать в боку торчащие кишки
Пытается, скуля, пораненная шавка.
О милосердьи врут – ни шагу вправо-влево...
– О, как меня мутит от скорбных ланьих глаз,
От липких сальных слов тягучего напева,
От кучи сосунков, что славят смертный час —
Святые, мы ещё нагадим вам во чрева!

Перевод А. Кроткова

Что говорят поэту о цветах

Господину Теодору де Банвилю

I

Чернеет лазурь над тобой,
Топазами бездну исторкав,
А Лилии бледной толпой
Сопят, как клистиры восторгов!
Век саго растит из зерна
Не грезу – крахмал и глюкозу,
А Лилии выпьют до дна
И высосут всю твою Прозу!
Они у Кердреля в груди!
Они в образцовом сонете
Тридцатого года; гляди —
Они в образцовом сонете
Тридцатого года; гляди —
И у Менестреля в букете
Они же! Все Лилии! Сплошь!
Как грешницу в белой сорочке,
И ты сладострастно введешь

Дрожащую Лилию в строчки!
Когда же сойдешь поутру,
Белея рубахою потной,
Наполнит ее на ветру
Душок Незабудки болотной.
Но стих твой одной лишь открыт
Сирени – о вымысел жалкий! —
Да сладким плевкам Альсеид,
Духмяным соцветьям Фиалки!..

II

Поэты, вам хочется Роз,
Раздувшихся, дышащих, алых,
Чтоб лавр их до неба вознес
На стеблях октав небывалых!
Чтоб, сдув их, как снежную пыль,
И вихрем подняв краснокрылым,
Пыльцою швырнулся БАНВИЛЬ
В глаза близоруким зоилам!
В лугах приминяя былье,
На Флору тихоня фотограф
Глядит, многоликость ее,
Как винные пробки, одоббив.
И вот – что за немощный сброд
Растений, тщедушных и ломких!
Их такса и та перейдет,
Как мелкую заводь, в потемках!
И вот – что за пакостный вид
Рисунков, где Лотос синюшный
В елейном сюжете манит
Причастницы взор благодушный!

Цветистая ода – точь-в-точь
Окошко цветущей девицы;
А на Маргаритку не прочь
Любой махаон испражниться.
– Тряпья! Подходите! Репья!..
Цветы по отжившим Салонам
Ползут, от натуги скрипя!
Отдать их жукам искушенным,
Всех этих уродцев нагих,
Убогих питомцев Гранвиля!
Светила бессильные их
Мерцанием млечным вспоили.
О, ваших свирелей напев —
Сусальные, сладкие слезы!..
Да все эти Лилии – блеф,
Сирень, и Фиалки, и Розы!

III

Чистюля охотник! Ты снял
Чулки и сигаешь по травке.
Ты страху на Флору нагнал —
Навел бы в ботанике справки!
Вдруг примешь сверчка среди трав
За шпанскую мушку – по сути ж
Ты, Рио на Рейн поменяв,
Флориду в Норвегию сунешь.
Однако Искусство не в том —
Ты это, любезный, осмысли, —
Чтоб на эвкалипте любом
Гекзаметры змеями висли;
Как будто нужны акажу,

Растущие в делях Гвианы,
Всего лишь прыжкам сапажу
Да тяжкому бреду лианы!
Нет, мертвый цветок иль живой —
Признаться, не стоит он даже
Слезинки на свечке простой!
Помета он птичьего гаже!
О том и твержу, что порыв
Бесплоден, что, даже утроив
Старанья, но ставни закрыв
И плясь на зелень обоев,
Цветение диких Уз
Ты сводишь к их копиям нищим!..
И в этом, любезный, как раз
Ты столь же смешон, сколь напыщен.

IV

Итак, не пампасы весной,
Кишащие Флорой мятежной, —
Табак и хлопчатник воспой!
Поведай о жатве безбрежной!
О том, как дает миллион
В Гаване Веласкесу рента;
Твой лоб Аполлоном дублен —
Наплюй же на море в Сорренто
С его лебедями! Твой стих
Обязан твердить неустанно
О вырубке манглий густых
И сборе плодов мангустана!
Пускай, точно лезвие, вмиг
Он чашу пронзает, кроваваясь,

Ища, как камедь и тростник,
Сюжетов сокрытую завязь!
Открой нам, что охра снегов
На пиках тропических – это
Цвет микроскопических мхов,
Личинок бесчисленных мета!
Найди нам марену и крапп,
Охотник! Воспой нам широты,
Где влиться Природа могла б
В ряды красноштанной пехоты!
Найди на опушке лесной
Соцветья в звериных обличьях,
Чьи зева целебной слюной
Исходят на пастбищах бычьих!
Найди на лугах заливных,
В серебряной дрожи затонов,
Кипенье эссенций, а в них —
Пунцовые яйца бутонов!
Найди нам хлопчатый Волчец,
Чью нить вереницею длинной
Тянули б ослы! Наконец,
Найди нам цветы с древесиной!
А в черной утробе руды —
Соцветья, всех прочих дороже,
Чьи бледные рыльца тверды
И перлы таит цветоложе!..
К застолью, насмешник пиит,
Подай, не жалея усилий,
Грызущую наш альфенид
Приправу из паточных Лилий!

V

Пусть нам говорят, что Амур
Спасает сердца от Печали, —
Но даже Ренан и кот Мурр
Его наяву не встречали.
А ты в мировой немоте,
Открыв аромат истерии,
Веди нас к такой чистоте,
Что праведней Девы Марии...
Купец! Арендатор! Спирит!
Твой стих многоцветен – а ну-ка,
Пусть он, как металл, закипит!
Пусть хлынет волной каучука!
Жонглер! Даже темной строкой
Ты свет преломляешь, как призмой:
Взметни электрический рой
Пядениц над Флорой капризной!
Железом запела струна —
Пусть лиры столбов телеграфных
Поднимутся крыльями на
Лопатках твоих достославных!
Пусть будет твой стих посвящен
Болезни картофеля – гнили!
И если ты хочешь, чтоб он
Сложился, чтоб тайны в нем были,
Чтоб он прозвучал от Трегье
До Парамариво, по свету, —
Купи господина Фигье
С лотков господина Ашетта!

Перевод М. Яснова

Первое причастие

1

Нелепый сельский храм; на стенах пятна сажи;
Прыщавую толпой подростки меж колонн;
Начистив башмаки и распаляясь в раже,
Картавый поп бубнит затверженный канон;
А солнца бойкий луч сквозь битые витражи
Храмину золотит, пробив сплетенье крон.
В суровых квадрах стен – тоска земного лона.
Окрестная земля булыжников полна,
Что грудями лежат меж трепета и гона,
Меж тёрна дикого, проросшего зерна
И чёрных шелковиц, чья зелень обреченно
Со злым шиповником узлами сплетена.
Сто лет белят амбар; шурша, по граням плоским
Гуляет грубый квач; побелка негуста;
Рождественский вертеп уныло залит воском;
Соломенный каркас Мадонны и Христа
Приметен и смешон, а мухам-кровососкам
Привольно залетать в святейшие уста.
Подросток утомлен, но отдохнуть не может,
Сыновний долг – вставать в предутреннюю рань;
Забудется, когда на голову положит
В исповедальне поп властительную длань,
И, отпустив грехи, укором потревожит,
И, плату восприяв, промолвит: грешник, встань.
Надевши первый раз костюм, дела забросив,
Он угощений ждет от радостного дня;
Вот, высунув язык, сам праведный Иосиф
Взирает со стены, сочувствием дразня;

Вот Маленький Капрал в веночке из колосьев,
Открытки на стене, волнение и возня.
Девицы ходят в храм – и слышат, как балбесы
Их сучками зовут; мальчишки так смешны —
Валяют дурака, ждут окончанья мессы,
Толкуют, как добыть военные чины,
А после – в кабачке разводят политесы,
И песни до утра похабные слышны.
А между тем кюре прилежно и ретиво
Для юных прихожан картинки выбирал;
Но – музыка вдали; по отзвукам мотива
Он понял – будет бал, и, неблагочестиво
Притопнувши ногой, плечами поиграл.
– От пристани небес прихлынул звёздный вал.

2

Поп глянул на юниц, и, как с полунамека,
Меж прочих – им всего одна отличена,
Что изжелта-бледна, худа и грустноока,
Неведомо – в шелках иль в ситцах рождена.
«Приметь ее, Господь, среди серого потока,
И благодати Твои да обретет она».

3

В канун святого дня недуги одолели,
Ей видятся в бреду кончина, свечи, гроб —
И девочка, мечась на скомканной постели,
Рыдает: «Я умру...», и бьет ее озноб.
Ей хочется украсть у сверстниц туповатых
Всю Божию любовь; и, в грудь бия рукой,
Мадонны светлый лик, Христа в победных латах
Зовет она прийти – и дать душе покой.

Ты слышишь, Адонай, умученный латынью,
Воззвавшего к Тебе в бесчувственный зенит?
Спасителя венец омыт небесной синью,
На белых ризах кровь – их Агнец кровянит!
– Прохлада райских кущ повеет с небосклона
В сердца невинных дев, грядущих и живых;
Прощение твое, Владычица Сиона,
Премного ледяней кувшинок прудовых!

4

Но праздник миновал, и таинства иссякли,
И образ Пресвятой, что душу мог согреть —
Лишь крашеный оклад и клочья пыльной пакли,
Источенный киот, нечищенная медь.
И ей не удержать бесстыдного искусства,
Не совладать с больной девической мечтой —
Немного приподнять покровы Иисуса
И сердце упоить Господней наготой.
Желание томит, и давит безнадежность,
И страсти стон глухой – в подушку, как на дно;
Продлить бы на века снедающую нежность;
И увлажнился рот... – А на дворе темно.
Нет больше сил терпеть. С усилием выгнув спину,
Пытается она портьеру распахнуть,
Чтоб ледяной сквозняк, нырнувший под перину,
Скользнул по животу и успокоил грудь...

5

Чуть за полночь она проснулась под белесым
Мерцанием луны сквозь переплет окон.
Ей снился алый сон. Кровь запеклась под носом.
Привиделся тот день, когда восстанет Он.

Но, телом ослабев, она близка к разгадке
Божественной любви, и жажда так чиста —
Изведать миг, когда душа уходит в пятки,
Узрев в полночной тьме воскресшего Христа;
В ту ночь Святая Мать незримо похлопочет
Омыть смятенья прах с ладоней малых чад,
А жажда все растет, а сердце кровоточит,
Но бессловесен бунт – свидетели молчат.
И, жертву принося, супругою незрелой,
Невестино храня достоинство свое,
Со свечкою в руке она, как призрак белый,
Спускается во двор, где сушится белье.

6

И всю святую ночь она – в отхожем месте,
Под крышей сплошь из дыр; едва горит свеча;
И дикий виноград ласкается к невесте,
С соседнего двора свой пурпур волоча.
Сусальный блеск небес на стеклах зол и колок —
В окошке слуховом все краски стеснены;
А на камнях двора смердит стиральный щелок,
И непроглядна тень вдоль дремлющей стены.

7

Безумцы грязные, чья слабость преотвратна,
Чей жалкий труд сгноил и души, и тела,
К вам ненависть моя; на вас проказы пятна —
Угодно ль подождать, пока не сожрала?

8

Когда, сглотнув комок тяжелой истерии,
Опомнится она, печальна и мудра —
Увидит наяву любовника Марии,

Что истязал себя скорбями до утра:
«Да ведаешь ли ты, что я тебя убила,
Уста твои взяла и сердце – всё при мне;
И я теперь больна: мне сон сулит могила
Меж водных мертвецов, на влажной глубине!
Была я так юна; но девичье дыханье
Осквернено Христом и мерзости полно!
Ты волосы мои ласкал, как шерсть баранью;
Что хочешь, то твори... Мужчинам все равно,
К неистовой любви их сердце вечно глухо,
В них совесть умерла и Божий страх угас;
В любой из нас живет страдающая шлюха,
Мы вечно рвемся к вам – и погибаем в вас.
Причастие мое, свершившись, отгорело.
Целуй меня, целуй – я навсегда пуста:
Покрепче обними – мои душа и тело
Изгажены навек лобзанием Христа».

9

Вольно гнилой душе с ободранною кожей
Проклятья рассылать, на все охулку класть,
– На ненависти одр возляжет, как на ложе,
Но, смерти избежав, не пригашает страсть.
Ворюга Иисус, крадущий к жизни волю,
На бледное чело наведший смертный пот —
Прикована к земле стыдом и лобной болью,
Скорбящая раба тебе поклоны бьет.

Перевод А. Кроткова

Искательницы вшей

Когда на детский лоб, расчесанный до крови,
Нисходит облаком прозрачный рой теней,

Ребенок видит въявь склоненных наготове
Двух ласковых сестер с руками нежных фей.
Вот усадив его вблизи оконной рамы,
Где в синем воздухе купаются цветы,
Они бестрепетно в его колтун упрямый
Вонзают дивные и страшные персты.
Он слышит, как поет тягуче и невнятно
Дыханье робкого невыразимый мед,
Как с легким присвистом вбирается обратно —
Слюна иль поцелуй? – в полуоткрытый рот.
Пьянея, слышит он в безмолвии стоулом
Биенье их ресниц и тонких пальцев дрожь,
Едва испустит дух с чуть уловимым хрустом
Под ногтем царственным раздавленная вошь...
В нем пробуждается вино чудесной лени,
Как вздох гармоника, как бреда благодать,
И в сердце, млеющем от сладких вождлений,
То гаснет, то горит желанье зарыдать.

Перевод Б. Лившица

Последние стихотворения

Воспоминание

I

Прозрачность вод, как соль слезинок в колыбели,
Стремленье женских тел к полуденному зною,
Лилеи чистые, хоругви под стеною,
Где девственницы кров себе найти сумели;
Налеты ангелов; – нет... золотые токи
И тяжесть темных рук, что травный дух впитали;
И тяжесть темных рук, что травный дух впитали;
Над нею, сумрачной, лазурь небесной дали

И тень, которую отбросил холм высокий.

II

О, блески пузырьков и влажный кафель пола!

Поблекшим златом вод захлестнутое ложе.

Девичьи платьица, что цветом с цвелью схожи,

Как ивы, в чьей листве пичуг отряд веселый.

Как веко желтое, блистательней дуката,

Кувшинку верности раскрыла ты, Супруга!

На тусклом зеркале страдаешь от недуга —

Ревнуешь к солнцу ты – недолго до заката.

III

С отменной выправкой мадам идет по лугу,

По зонтичным она плывет, сминая травы,

И держит зонтик свой; повадки величавы;

А дети на траве, поближе сев друг к другу,

Читают красный том в сафьяне. Горе бедной!

Как сонмы ангелов оставив на распутье,

Он за горой исчез. Она в душевной смуте

Бежит, холодная, за канувшим бесследно.

IV

О, травы чистые, скорбя, вы приуныли!

Сокровище луны апрельской! Одр священный

В заречной хижине, покинутой, блаженной

В тот вечер августа, что веет духом гнили.

Пусть плачет под мостом она! Здесь воздух жаркий,

И дышат тополя, что ветра ждут у хляби,

А скатерть серая без отсветов, без ряби,

Землечерпальщик-дед на неподвижной барке.

V

Я как игрушка вод немых, не в силах боле...

О неподвижный челн! как, руки, коротки вы,
Ни желтый не сорвать, ни тот цветок красивый,
Что в пепельной воде манит меня, как в поле.
Стряхнут пыльцу крыла на иве или раките.
О, розы тростников не сжеваны донныне!
Мой челн прикован здесь, и в бездну водной стыни
Уходит цепь его – в какую муть, скажите?

Перевод А. Триандафилиди

Мишель и кристина

Стой, жди, покинет солнце наш простор!
Беги, ручей! Вот тени путевые.
Гроза на ивы, на парадный двор,
Как с гор, стремит потоки дождевые.
Солдаты белые, о, сто ягнят
Идиллий, акведуки, вереск тощий,
Бегите! рощ, долин, степей наряд
И горизонты красны под грозою.
Пастух-смуглец с собакой, с белым стадом,
Развевая плащ, беги от горних стрел;
Спеши, когда уж плыть по тьмам и смрадам,
Найти внизу приятнее предел.
Но, Господи! И вот мой дух летит
С небес, где льдяно-красная метель, с
Небесных туч, которые летят
На сто Солон, длиннее длинных рельс.
Вот сто волков суровою крупую
Уносятся, влюбившись в запах рут,
Полдневною Господнею грозою
В Европу, где сто диких орд пройдут!
Затем и свет луны! Везде лужайки.

Блуждая взором в черных облаках,
Красны стрелки на бледных рысаках!
И камешки звучны для гордой шайки!
Увижу ль желтый лес и светлый лог,
Голубоглазая, и смуглый, Галлы,
Пасхальный агнец лег у милых ног,
– Мишель, Христина, – и Христос! —
Конец идиллий.

Перевод Ф. Сологуба

Слеза

Вдали от птиц, от стад, от буржуазок
На вереске пивал я на коленях.
Орешники бросали нежно тень,
И зелен был туман в прохладный день.
Что пил бы я на молодой Оазе,
Немые вяза, тучи и плетень?
Из горлянки ли пить, вдали от казы,
Пот вызывающий златоликер?
Дурной эффект для вывески в харчевне.
Гроза меняет к ночи кругозор:
То стали жерди, черные деревни,
Колонны ночью синей и вокзалы.
Вода лесная кроется песками,
Бросает льдины Божий ветер в болота,
И, как искатель раковин и злата,
Сказать, что пил я очень беззаботно!

Перевод Ф. Сологуба

Речка Черный Смород

Речка Черный Смород движется без цели

По долинам странным,
Ангелам над нею сладко петь доселе,
Любо каркать вранам,
И над берегами шевелимы ели
Ветром непрерывным.
Двигается речушка, но хранит завет
Отзвучавшего вчера:
Замковые башни, парки прежних лет —
Здесь порою до утра
Рыцарей бродячих слышен страстный бред, —
Но целительны ветра!
В скрипе елей путник своему испугу
Объясненье сыщет вмиг.
Враны, птахи Божьи, вы на всю округу
Боевой пошлите клик —
И недоброхота, мужичка-хитрюгу,
Прочь гоните напрямик!
Перевод Е. Витковского

Комедия жажды

1. Родня

Мы – деды твои и дядья,
Родня!
На лицах блестящий пот,
Прохладный бисер луны.
Да, наши вина сильны!
Под солнцем, что честно жжет,
В чем доблесть мужчины? Пить.
Я. – Погибнуть у варварских рек!
Мы – деды твои и дядья,
Друзья

Простых деревенских благ.
Взгляни: окруженный рвом,
Наш замок. В подвал сойдем,
Хлебнем пивца натошак,
А то молока нальем.
Я. – С коровами пить у ручья!
Мы – деды твои и дядья,
Питья
Есть вдоволь у нас – выбирай:
Наливки и коньяки,
Душистый кофе и чай...
Кладбищенские венки —
Прощай, дорогой, прощай...
Я. – О, чокнуться чашами урн!

2. Призрак

О дивные Ундины,
Взбурлите пучины!
Венера, дочь лазури,
Возникни из бури!
Кочевники Норвегий,
Напойте о снеге!
Скитальцы Фанагорий,
Навейте мне море!
Я. – Нет, хватит этой блажи —
Кувшинок в стакане;
Не утоляет жажды
Напиток мечтаний.
Певец, ты возлелеял —
Случайно, быть может,
Безжалостного змея,

Что душу мне гложет!

3. Приятели

Видишь? – струи Настойки

Мчатся с горных вершин,

Над уступами стойки

Башни высятся Вин.

Так вперед, паладины,

Сокрушим цитадель!

Я. – К черту эти картины;

Здесь ли истинный хмель?

Лучше где-нибудь в тине

Догнивать, как топляк,

В лягушачьей трясине,

Меж вонючих коряг.

4. Сон бедняка

Быть может, как-нибудь

Судьба меня отпустит

В знакомом захолустье

Спокойствия хлебнуть —

И мирно кончить путь.

Когда пройдет недуг

И зазвенит в кармане,

Куда меня потянет —

На север иль на юг,

В страну Садов иль Вьюг?

– Нет, сны твои не впрок!

Не вымечтать былого,

И не вернуться снова

На давешний порог,

В зеленый кабачок!

5. Заключение

И каждый мотылек, что к лампе льнет,
И каждый зверь затравленный, и каждый
Птенец дрожащий – и усталый скот —
Такой же самой мучаются жаждой.
Растаять бы, как облака в пути, —
О, эти баловни прохлады чистой! —
Или в фиалках влажных изойти
Расхожестью пустой и водянистой...

Перевод Г. Кружкова

Добрые мысли утром

О, лето! Пятый час утра.
У сна любви пределов нет,
Но в воздухе хранит рассвет
Все, что сбылось вчера.
Но там, задолго до поры
Провидя солнце Гесперид,
Приобретают столяры
Рабочий вид.
В пустыне мшистой – сон, покой,
Но гул проходит по лесам,
В угоду жизни городской,
Плафонным небесам.
Рассветный не губи настрой,
Рать вавилонского царя!
Венера, любящих укрой,
Пока горит заря!
Царица пастушат!
Дай столярам вина ушат,
Пусть им полюбится покой,

А в полдень – их тела омой волной морской!

Перевод Е. Витковского

Празднества терпения

Хоругви мая

Дрожа, умчался в высоту

Далекий крик: ату! ату!

А аллилуйи тишины

В глуши смородины слышны.

Смеясь, по жилам бродит хмель,

И вьется виноградный змей.

Лазурь светла, как серафим,

Смешался блеск небес и волн.

Пусть этот блеск меня сразит —

Сраженный, упаду на мох.

Выходит, что тоску влачить

Не так уж трудно. Вот сюрприз!

Взлечу на колеснице дня

В зенит, в трагическую высь.

Природа, ты меня убей! —

Умру, переплетясь с тобой —

Пока наивных пастушков

Приканчивает суд мирской.

Пусть этот жар меня сожжет —

Тебе, Природа, предаюсь.

Вот жажда и алчба мои:

Прими, насыть и напои.

В душе иллюзий – ни одной,

Смеюсь над солнцем и родней.

Хотя в веселье нет нужды, —

Хватило б воли да беды.

Перевод Г. Кружкова

Песня с самой высокой башни

Юность беспечная,
Волю сломившая,
Нежность сердечная,
Жизнь погубившая, —
Срок приближается,
Сердце пленяется!
Брось все старания,
Будь в отдалении,
Без обещания,
Без утешения,
Что задержало бы
Гордые жалобы.
К вдовьим стенаниям
В душу низводится
Облик с сиянием
Твой, Богородица:
Гимны ль такие
Деве Марии?
Эти томления
Разве забылися?
Страхи, мучения
На небо скрылися,
Жаждой истомною
Кровь стала темною.
Так забывается
Поросль кустарников,
Там, где сливается
Запах нектарников

С диким гудением
Мушек над тлением.
Юность беспечная,
Волю сломившая,
Нежность сердечная,
Жизнь погубившая, —
Срок приближается,
Сердце пленяется!
Перевод Ф. Сологуба

Вечность

Обретена
Вечность!.. Она —
Это волна,
Слитая с солнцем.
Дух мой хранитель,
В бессонной ночи
Свету заклатья
За мной прошепчи.
Сбросив оковы
Всеобщей судьбы,
Свободен ты снова,
Ты – сам по себе.
Над этой атласной
Жаровней зари,
Над смутною косной,
Вера, пари!
Всего лишь мгновенье
Забвения, но —
Познание, терпенье,
Страдание дано.

Обретена
Вечность!.. Она —
Это волна,
Слитая с солнцем.
Перевод М. Яснова

Золотой век

И вновь голосок
Нежнее свирели
Свой кроткий упрек
Лепечет – не мне ли?
Забудь про клубок
Проклятых вопросов:
От многих тревог
Свихнешься, философ!
Танцуй же и пой
Легко и беспечно
С цветком и волной —
Родней твоей вечной!
Волна за волной
Мотив наплывает —
Все ясно без слов...
– И я подпеваю:
Танцуй же и пой
Легко и беспечно
С цветком и волной —
Родней твоей вечной!.. и т. д.
И вновь голосок
– Он звонче свирели —
Свой кроткий упрек
Лепечет – не мне ли? —

И тут же – с другим
Аккомпанементом
Поет – херувим
С немецким акцентом:
Мир – плут и злодей;
Поверь мне, едва ли
Он стоит твоей
Заветной печали!
Чертоги блестят
Красой горделивой...
О царственный брат!
Откуда пришли вы
В наш замок счастливый?.. и т. д.
О сестры, о ком
Мечтал я тайком
– Нет тайны укромней! —
Стыдливым венком
Увейте чело мне... и т. д.
Перевод Г. Кружкова

Молодая чета

В окошке – небо; в доме – сундуки,
Шкаф – огромен и трехстворчат.
А за окном – как будто рожи корчит
Сам домовый – мясистые цветки.
Раздоры, стычки, побоку дела —
Но шелковица слаще в полнолуние,
Как будто чернокожая колдунья
Решетками углы позаплела.
В неясном свете тусклой полировки
Расселись, словно призрачный конклав,

Угрюмые мамыши и золовки,
Уединиться молодым не дав.
Не исчезать, свидетелей тревожа —
К чему супругам этакий зарок?
А духи вод наносят ветерок
Под пологи супружеского ложа.
Медовый месяц и подружка-ночь,
Завесьте небо медною кулисой,
С улыбкой помогите превозмочь
Дурной навет, что вброшен злобной
крысой.
О выстрел сумасбродный, не звучи —
Знак покаянья и ревнивой злости.
Вы, старцы вифлеемские, в ночи
Святой покров скорей на окна бросьте.

Перевод А. Кроткова

Брюссель

Амарантовые гряды вплоть
До приятного Зевесова дворца.
– Знаю, – это Ты в зеленый плющ
Примешал сахарскую голубизну!
Как на солнце ель и кущи роз
И лиана растворили здесь свою игру,
Клетка маленькой вдовы!.. Какие
Стаи птиц, о йа, ио, иа, ио!..
– Страсти старые, домашний сон!
В баловницу из киоска кто влюблен,
За спиною роз внизу балкон,
Тенистый балкон Джульетты.
– Ах, Джульетта, – вроде Генриетты,

Чары милых станций на путях,
В глуби холмов, как в плодовых садах,
Где черти голубые в облаках!
Вот холм, где бурным майским веткам
Гитара вторила у девушки ирландской,
Затем в столовой гинеевской
Щебет детский и по птичьим клеткам.
Окно князей внушит воспоминанье
Об яде слизняков и хризантем,
Здесь дремлющих на солнце. И затем
Чудесно слишком! Сохраним молчанье.
Бульвар без шума, без торговли;
Немой, комедий, драм сплетенье,
Сцен бесконечное соединенье,
Тебя узнав, люблюя в молчанье.

Перевод Ф. Сологуба

«Алмея ли она? На голубом рассвете...»

Алмея ли она? На голубом рассвете
Исчезнет ли она, как мертвый цвет в расцвете?
Пред этой шириной, в безмерном процветанье
Роскошных городов, в их зыблемом дыханье!
Избыток красоты? Но это только плата
За дочку рыбака, за песенку пирата,
И чтобы поздние могли поверить маски,
Что в море чистом есть торжественные краски!

Перевод Ф. Сологуба

Разгул голода

О, голод мой, Анна, Анна! —
Горящая рана.

Растет аппетит могучий,
Чтоб горы глотать и тучи.
Нет удержу! Буду лопать
Железо, уголь и копать.
Мой голод, вол неуклюжий!
 Мыча с тоски,
Пасись на лугу созвучий,
 Топча вьюнки!
Вокруг – еда дармовая:
Каменоломен харчевни,
И валунов караваи,
И плиты соборов древних.
Мой голод! В просветах дымных
 Лазурный бред.
О, как он грызет кишки мне,
 Спасенья нет!
На грядках зелень ершится:
Вопьюсь в хрустящие листья,
Сжую на корню душицу,
Укроп и хрен буду грызть я.
О, голод мой, Анна, Анна! —
Горящая рана...

Перевод Г. Кружкова

«Как волк хрипит под кустом ...»

Как волк хрипит под кустом,
Добычи пестрые перья
Отрывивая с трудом, —
Так сам себя жру теперь я.
Земли плодородный тук
Тугие плоды рождает;

Но житель плетня – паук
Фиалки одни снедает.
Уснуть бы! Вскипеть ключом
На жертвеннике Соломона!
Пускай моя кровь стечет
В холодную зыбь Кедрона.
Перевод Г. Кружкова

«Послушай, как громко трубит у дорог...»

Послушай, как громко
трубит у дорог
в апрельских потемках
зеленый горох!
В потоке видений,
в высотах ночных
колышутся тени
почивших святых.
На мертвенных лицах
тоска забытья
и жажда – напиться
земного питья...
Ни трюк балаганный,
ни звездный обман —
мираж этот странный,
полночный туман.
И смотрят, и брезжат
– Сицилия, Рим —
сквозь лунные мрежи,
сквозь морок и дым!
Перевод Г. Кружкова

«О, времена, о, города...»

О, времена, о, города,
Какая же душа тверда?
О, времена, о, города!
Меня волшебство научает счастьем,
Что ничьему не властно безучастием.
Петух наш галльский воздает
Ему хвалу, когда поет.
Теперь мое желанье дремлет, —
Ведь счастье жизнь мою подымлет,
Очарованье телу и уму,
И все усилья ни к чему.
А песнь моя понятно ль пела?
Она бежала и летела,
О, времена, о, города!
Ф. Сологуба

«О сердце, что нам кровь, которой изошел...»

О сердце, что нам кровь, которой изошел
Весь мир, что нам пожар и неумный стон,
Всесокрушающий, рыдающий шеол,
И над руинами свистящий аквилон,
И мщение? – Ничто... Однако, если вновь
Возжаждем? Сгинь тогда, мир алчный и гнилой,
Цари, купцы, суды, история – долой!
Мы – вправе! Золото, огонь и – и кровь! И кровь!
Стань мщенья символом, террора и пальбы,
Мой разум! Зубы сжав, постичь: назначен час
Республикам земли. Властители, рабы,
Народы, цезари – проваливайте с глаз!
Кто вихрь огней разжечь решился бы, когда
Не мы, романтики, не братский наш союз?

Смелее к нам, друзья, входите же во вкус:
Дорогу – пламени, долой ярмо труда!
Европа, Азия, Америка – к чертям!
Наш вал докатится до самых дальних стран,
И сел, и городов! – Нас предадут смертям,
Вулканы выгорят, иссохнет океан...
Решайтесь же, друзья! Сердца возвеселя,
Сомкнувшись с черными, с чужими – братья, в бой!
Но горе! Чувствую, как дряхлая земля,
Полна угрозою, плывет сама собой.
Ну, что же! Я – с землею навсегда.

Перевод Е. Витковского

Стыд

Так, что не взрежет ланцет
Мозг этот, белый, зеленый
И ожирелый пакет,
В паре всегда обновленный...
Ах! Он разрезал бы свой
Ах! Он разрезал бы свой
Нос, свою губу, все уды,
Брюхо! и бросил долой
Лядвеи даже! О, чудо!
Нет же; я знаю, что так,
Как для ребра его камень,
Нож голове его, как
Кишкам сжигающий пламень,
Все ж бы дитя не постиг,
Робкий, подобный осляти,
Как прекратить хоть на миг
Хитрое дело, предатель,

Как с Мон-Роше скверный кот,
Вонью обдавший все сферы!
Пусть его смерть воспоет,
Боже! молитвенник веры!

Перевод Ф. Сологуба

Стихотворения в прозе

Озарения

I. После потопа

Едва лишь осела покойная воля Потопа,
Застыл в колокольцах и злаках колеблемых заяц и молитву вознес небесной
радуге сквозь паутину.

О, сокрывшиеся драгоценные камни – там уже озирались цветы.

На замызганной улице встали прилавки, и к морю пришлось вытягивать барки,
в ступенчатый верх, как на старых гравюрах.

Стекала кровь у Синей Бороды, – на бойнях, – с трибун, где Божия печать
бледнила окна. Стекало с кровью молоко.

Работали бобры, дымился жидкий кофе на разлив.

В огромном доме стекол, еще слезящемся, в траур одетые дети смотрели на
чудо-картины.

Хлопнула дверь, и ребенок на площади сельской руки воздел, уловил флюгеры
и жируэтки под разразившимся шквалом.

В Альпах дама NN воздвигла рояль. На сотне тысяч престолов собора мессу
служили и с торжеством причащали.

Тронулись в путь караваны. Сиятельный Чертог построен был в полярном
хаосе ночей и льдов.

И тогда – Луна услышала шакалов вытье с полей чабреца, и эклоги ворчливых
сабо по садам. И стволем фиолетовым, почкой набухшей поведал эвхарис, что
это весна.

Глухо; пруды, – пенься, мосты и леса заливая, – органы и траурный креп, – и молнии, грохот, – поднявшись, кружитесь, – печали и воды, поднявшись, Потопы отверзните.

Ибо после рассеянья их – о, таящиеся драгоценные камни, и раскрытые цветов! – только скука! И Царица, Колдунья, что угли свои в глиняном тигле раздула, никогда не захочет открыть то, что ведомо ей – неизвестное нам.

Перевод Я. Старцева

II. Детство

I

О, этот идол, черноглазый и желтогривый, безродный, бездомный, – и все же он благородней любых мексиканских или фламандских сказаний; владенья его – дерзновенная лазурь и зелень – бегут по отмелям, которым не знавшие паруса волны дали свирепо звучащие имена – греческие, славянские, кельтские.

На опушке лесной – где цветы, что растут лишь во снах, распускаясь, звенят и сияют – девочка с апельсиновым ртом; сжаты колени пред льющимся с поля светоносным потопом; наготу осеняют, пронзают и скрывают радуги, травы, море.

Дамы, что кружатся по террасам над морем, инфанты и великанши, спесивые негритянки в желто-зеленом мху, словно ожившие драгоценности на жирной почве лужаек и садиков талых, – юные матери и старшие сестры со взорами паломниц; султанши с царственной поступью и в своевольных нарядах, чужестраночки и тихо страдающие особы.

Что за скука – час «милого тела» и «милого сердца»!

II

Вот она, маленькая мертвица за порослью роз. – Усопшая юная мама сходит с крыльца. – Коляска кузена скрипит по песку. – Братец (он в Индии!) ближе к закату, на поле гвоздики. А стариков схоронили навтыжку возле развалин стены, поросших левкоем.

Листьев рой золотой вьется вокруг генеральского дома. Все семейство на юге. – Отсюда по бурной дороге можно дойти до пустой харчевни. – Замок назначен к продаже; ставни сорваны с окон. Священник, должно быть, унес ключи от церкви. – Сторожки в парке пусты. Ограда так высока, что над нею видны только шумливые кроны. Впрочем, там не на что и смотреть.

Поля подступают к деревушкам, где не поют петухи, не звенят наковальни. Запруду спустили. О придорожные распятия, мельницы среди безлюдья, островки на реке и скирды!

Гудели цветы колдовские. Его баюкали косогоры. Пробегали звери сказочной стати. Облака собирались над морем, сотворенным из вечных горячих слез.

Ш

Есть такая птица в лесу – ее пенью тебя остановит и в краску вгоняет.

Есть часы, что вовеки не бьют.

Есть логово с выводком белых зверюшек.

Есть пологий собор и отвесное озеро.

Есть повозочка, брошенная на лесосеке, а бывает, что она, вся в лентах, несется себе вниз по тропинке.

Есть табор бродячих комедиантов – его иногда замечаешь сквозь придорожную поросль.

И, наконец, когда тебе нечего есть и пить, найдется кто-нибудь, чтобы выставить тебя вон.

IV

Я святой, я молюсь на террасе – так мирно пасется скотина до самого Палестинского моря.

Я ученый в сумрачном кресле. Ветки и струи дождя хлещут в окна библиотеки.

Я путник на большаке, проложенном по низкорослому лесу. Журчание шлюзов шаги заглушает. Я подолгу смотрю, как закат меланхолично полощет свое золотое белье.

Я с радостью стал бы ребенком, забытым на молу среди моря, мальчишкой-службой, бредущим по темной аллее, касаясь неба челом.

Тропинка все круче. Холмы покрываются дроком. Воздух недвижим. Как далеко до птиц и горных ключей! Если дальше идти, наверняка доберешься до края света.

V

Как бы мне снять, наконец, эту могилу, выбеленную известкой, с цементными грубыми швами – глубоко-глубоко под землей!

Вот я сижу за столом под яркой лампой, сдуру перечитывая старые газеты и пустые книжонки.

На страшной высоте над моим подземным укрытием коренятся дома, клубятся туманы. Грязь красновато-черна. Чудовищный город, ночь без конца.

Чуть пониже – сточные трубы. По бокам – лишь толща земного шара. Быть может, в ней лазурные бездны, колодцы огня. В тех плоскостях, должно быть, и сходятся луны с кометами, сказанья с морями.

В часы отчаянья воображаю шары из сапфира, из металла. Я – властелин тишины. С чего бы подобью отдушины вдруг забрезжить под сводом?

Перевод Ю. Стефанова

III. Сказка

Жил Принц, который оскорбился тем, что вечно был примером лишь процветания обиденных щедрот. Он грезил невероятной трансформацией любви, подозревая своих женщин в уменьях больших, чем это гарнированное небом и роскошью потворство. Он жаждал видеть истину, миг сердцевинного желанья и довольства. Будь это извращенным рвением иль нет, он возжелал. По меньшей мере, властью людской он обладал немалой.

Он умертвил всех женщин, бывавших с ним. Вот разорение в саду красот! Под саблей они его благословляли. Он не велел призвать других. – Женщины явились вновь.

Убиты были все, кто вился рядом – после охоты или возлияний. – Все вились рядом.

Он забавлялся, закалывая редкостных зверей. Он поджигал дворцы. Он бросался на людей, рубя в куски. – Толпа, и золотые крыши, чудесные животные отнюдь не исчезали.

Так можно жить экстазом разрушенья, омолодиться жестокостью! Народ безмолвствовал. Никто не предлагал развития его идей.

Однажды вечером надменно он объезжал владенья. Пред ним явился Гений, красоты невыразимой, да что – непредставимой. Его манера и весь облик обещали изысканную многую любовь! и счастье несказанное, да что – невыносимое! Должно быть, Принц и Гений друг друга поразили в сердцевину естества. Как было им потом не умереть? Они и умерли одновременно.

Но Принц скончался во своем дворце, в годах обычных. Принц был Гением. Гений был Принцем.

Желанью нашему недостаёт премудрой музыки.

Перевод Я. Старцева

IV. Парад

Дюжие бестии. Много тут грабивших ваши миры. Без нужды и не торопясь пускать в ход свою великолепную хватку и знание ваших душ. Экий зрелый народ! Глаза с придурью, на манер летней ночи, красные и черные, трехцветные или как сталь в крапинах золота звезд; тип лица деформированный, свинцовый, обескровленный, выжженный; хрипотца разудалая! Свирепая поступь лохмотьев! – Есть и юнцы – как взглянут они на Херувима? – наделенные устрашающим голосом и кой-каким опасным чутьем. Этих шлют в город пообтрепаться, вырядив в тошнотворную роскошь. О, нещаднейший рай взбешенной гримасы! Что там ваши Факиры и прочий сценический балаган! В костюмах, скроенных наспех со вкусом дурного сна, они корчат стенающих головорезов, страждущих духом полубогов, каких ни история, ни религии не знавали века. Китайцы, готтентоты, цыгане, юродивые, гиены и молохи, полоумные мощи, зловещие демоны, – они вносят в ухватки народные, кровные, похоть скотских лобызаний и поз. Они вам в придачу к новеньким пьескам выдать готовы песенку «душечку». Заправские

шарлатаны, они преображают фигуры и место, пользуются комедией магнетической. Глаза пылают, кровь голосит, кости пучатся, слезы и алые струйки сочатся. Их насмешка или террор длятся минуту – или целые месяцы. Лишь у меня есть ключ к этому варварскому параду.

Перевод В. Козового

V. Античное

Пленительный сын Пана! Вкруг лба, увенчанного ягодами спелыми с цветами, двух глаз твоих, шаров бесценных, шевеленье. В потеках темных втянутые щеки. Клыки сияют. И грудь твоя подобна цитре, и звон пронзает палевые плечи. И сердце бьется в чреве, с рождения двуполом. Так двинься ночью, нежно покачнув бедром вот этим, и другим бедром, и левым подбедерьем.

Перевод Я. Старцева

VI. BeIng beauteous[1]

У снежной кромки – высокого роста Творение Красоты. Хрипы смерти, круги приглушенной музыки вздымают, ширят, зыбят, будто призрак, это боготворимое тело; багряные, черные раны вспыхивают на возлюбленной плоти. Жизни присущие краски сгущаются, пляшут и тают вокруг Видения на помосте. И возносятся, рокочут трепеты, и покуда насыщенность этих картин наливается, буйная, смертными хрипами и сиплыми нотами, которые мир, далеко у нас за спиной, мечет в нашу мать красоты, – она отступает, она распрямляется. О, наши кости – их облачило новое влюбленное тело!

* * *

О, лицо пепельное, чеканка гривы, руки хрустальные! пушка, на которую должен я рухнуть сквозь побоище веток и легкого воздуха!

Перевод В. Козового

VII. Жизни

I

О, непомерные аллеи святых земель, террасы храма! Что случилось с тем брахманом, растолковавшим для меня все Притчи? С тех пор, оттуда вижу

посейчас и тех старух. Я вспоминаю ток серебряных часов и солнца к рекам, и руку пашни на моем плече, и наши стоячие ласки в равнинах, где жгучая сыпь. – Взлет голубей пунцовых громом окружает мысли. – Я в этой ссылке удостоен сцены, где можно бы сыграть шедевры драмы всех литератур. Я укажу вам небывалые богатства. Видно продолженье! Подобно хаосу, и мудрость моя брошена с презреньем. Мое небытие – ничто пред ждущим вас параличом.

II

Я изобретатель, иначе отличный, чем те, что приходили до меня, – скорее музыкант, нашедший нечто вроде ключа к любви. Теперь, достойный житель в кислом захолустье с трезвым небом, пытаюсь взволноваться, вспоминая то нищенское детство, то жизнь подмастерья, прибытие в дырявых башмаках, и споры, и как пять ли, шесть ли раз вдовел, и свадьбы, где крепость головы мне не дала подняться до размаха остальных. Я не жалею об ушедшем, тогда моем, божественном весельи, и трезвый воздух в кислом захолустье уверенно питает мой жестокий скептицизм. Но этот скептицизм уже не может найти применения, к тому же я погряз и в новых неудачах, – жду превращенья в очень злобного безумца.

III

В амбаре, где заперли меня в двенадцать лет, я понял мир, и был живой картинкой к человеческой комедии. Я изучил историю в чулане. На празднике ночном в одном из городов на Севере я встретил женщин с полотен старых мастеров. Античные науки мне преподали в укромном парижском проулке. В великолепном имении, окутанном цельным Востоком, я свершил великое творение и завершил блистательной отставкой. Кровь моя перебродила. Мой труд вернули с исправлениями. Об этом не стоит даже думать. Я вправду на том свете и поручений не беру.

Перевод Я. Старцева

VIII. Отбытие

Уже перевидел. Виденье уткнулось во все горизонты.
Уже получил. Ропоты городов, – в сумерки, в солнце, и вечно.
Уже распознал. Заказано жизнью – о, Ропот и Виденья!
Отъезд: – где свежие влечение и шум!

Перевод Я. Старцева

IX. Королевство

В одно прекрасное утро, среди народа кротчайшего, восхитительные мужчина и женщина кричали на городской площади: «Друзья мои, я хочу, чтоб она была королевой!» – «Я хочу быть королевой!» Она смеялась и трепетала. Он обращался к друзьям по таинству, по свершившемуся испытанию. Они млели, прижавшись друг к другу.

И действительно, они пробыли королями все утро, когда карминная драпировка приподнялась над домами, и весь день до вечера, когда они направились к садовым пальмам.

Перевод В. Козового

X. К причине

Один удар твоего пальца в барабан выстреливает вольно звуки, гармонии новой началом.

Один твой шаг – очередной призыв для новобранцев, дальше в ногу.

Ты обернулась – новая любовь! Ты развернулась – новая любовь!

«Нам жребий смени, и кары рассей, избавь нас от времени», – распевают они.

«Вознеси хоть куда семя наших судеб и алканий», – зывают к тебе.

Вечноприбывшая, ты разойдешься всюду.

Перевод Я. Старцева

XI. Хмельное утро

О, мое Благо! О, моя Красота! Я не дрогнул при душераздирающем звуке трубы. Волшебная дыба! Ура небывалому делу и дивному телу, в первый раз ура!

Все началось под детский смех, все им и кончится. Эта отравка останется в наших жилах и после того, как смолкнет труба, и мы возвратимся к извечной дисгармонии. А пока – нам поделом эти пытки – соединим усердно сверхчеловеческие обещания, данные нашему тварному телу, нашей тварной душе: что за безумие это обещание! Очарованье, познание, истязание! Нам обещали погрузить во мрак древо добра и зла, избавить нас от тиранических правил приличия, ради нашей чистой любви. Все начиналось приступами тошноты, а кончается – в эту вечность так просто не погрузиться – все кончается россыпью ароматов.

Детский смех, рабская скрытность, девическая неприступность, отвращение к посясторонним вещам и обличьям, да будете все вы освящены памятью об этом бдении. Все начиналось сплошной мерзостью, и вот все кончается пламенно-льдиными ангелами.

Краткое бденье хмельное, ты свято! Даже если ты обернешься дарованной нам пустой личиной. Мы тебя утверждаем, о метод! Мы не забываем, что накануне ты, без оглядки на возраст, причислил нас к лику блаженных. Мы веруем в эту отравку. Каждодневно готовы пожертвовать всей нашей жизнью.

Пришли времена *хашишинов-убийц*.

Перевод Ю. Стефанова

ХII. Фразы

Когда мир превратится сплошь в темный лес для нашей дивящейся четверки глаз – в одно взморье для двоих прилежных детей, в один мелодический дом для нашей светлой приязни, – я вас отыщу.

Пусть останется в мире одинокий старик, тихий и статный, окруженный «неслыханной роскошью», – и я у ваших ног.

Пусть исполню я все, что вам памятно, – пусть буду той, что умеет скрутить вас, – я вас удушю.

* * *

Когда мы куда как сильны – кто пьтится? куда веселы – кто никнет посмешищем? Когда мы куда как злы – что с нами сделают?

Рядитесь, пляшите, смейтесь. – Я никогда не смогу вышвырнуть Любовь в окно.

* * *

Подружка моя, попрошайка, дитя уродливое! до чего безразличны тебе эти бедняжки, и эти уловки, и мои замешательства! Примкни к нам своим немислимым голосом – твоим голосом! единственным проблеском в этом подлом отчаянье.

* * *

Пасмурность утра, июль. Привкус пепла носится в воздухе, – запах древесный, сыреющий в очаге, – затхлость цветов, – беспутство прогулок, – морось каналов в полях, – почему б, наконец, не игрушки и ладан?

* * *

От колокольни к другой натянул я канаты; гирлянды – от окна к окну; золотую цепь – от звезды до звезды; и танцую.

* * *

Пруд в вышине дымит непрерывно. Какая колдунья вот-вот распрямится над белым закатом? Какие лиловые обвалятся кущи!

* * *

Покуда общественная казна испаряется в праздниках братства, в облаках гудит колокол розового огня.

* * *

Навевая сладостный привкус туши, черный порох нежно дождит надо мной, полуночником. – Я приглушаю свет люстры, бросаюсь ничком на кровать, и, повернувшись к тени лицом, я вижу вас, мои девочки! мои королевны!

Перевод В. Козового

ХIII. Рабочие

О, душная жара февральским утром! Юг некстати будит абсурдные воспоминанья туземной нашей юной нищеты.

Хенрика надела хлопчатую юбку с кирпично-белою клеткой, какие, может быть, носили в прошлом веке, беретку с ленточкой, и шелковый платок. Все

это было хуже траура. Мы вышли на прогулку по предместью. Затянутое небо, и этот южный ветер, пробуждавший гнилые запахи размытых огородов и высохших лугов.

Но ни жену мою все это никак не утомляло, ни меня. В оставшейся от наводнения в прошлом месяце канавке она мне показала малюсеньких мальков.

Дым городской и шумы мастерских нас преследовали очень долго на дальних тропинках. О, иной мир, благословенная небом и тенистой прохладой местность! Мне юг напоминал собой убожество трагедий детства, и летнее унынье, таящиеся где-то невысказанным числом науку, силу, упрятанные навсегда судьбой. Нет! Мы не останемся на лето в этом скупом краю, где будем вечно лишь обрученными сиротами. Я не хочу деревенеющей рукой тащить и дальше милый образ.

Перевод Я. Старцева

XIV. Мосты

Хрустально-серые небеса. Причудливый очерк мостов, то ровных, то вздувшихся или же ниспадающих в угловатом наклоне над первыми, и фигуры их множатся в прочих освещенных обводах канала, но все это такой легкости и длины, что побережья, под грузом туманов, оседают и свертываются. Кое-какие из этих мостов вдобавок нагружены и лачугами. Иные несут мачты, вымпелы, хрупкие поручни. Аккорды встречаются, разбегаясь в миноре; струны вспыхивают с берегов. Различаешь красную куртку, другие, быть может, костюмы и музыкальные инструменты. Народные ль это мелодии, обрывки ли великокняжских концертов или отзвуки общественных гимнов? Воды серые, синие и шириною с морской рукав.

XIV. Мосты

Хрустально-серые небеса. Причудливый очерк мостов, то ровных, то вздувшихся или же ниспадающих в угловатом наклоне над первыми, и фигуры их множатся в прочих освещенных обводах канала, но все это такой легкости и длины, что побережья, под грузом туманов, оседают и свертываются. Кое-

какие из этих мостов вдобавок нагружены и лачугами. Иные несут мачты, вымпелы, хрупкие поручни. Аккорды встречаются, разбегаясь в миноре; струны вспыхивают с берегов. Различаешь красную куртку, другие, быть может, костюмы и музыкальные инструменты. Народные ль это мелодии, обрывки ли великокняжских концертов или отзвуки общественных гимнов? Воды серые, синие и шириною с морской рукав.

Белый луч, опустившись с небесных высот, уничтожает эту комедию.

Перевод В. Козового

XV. Город

Я – эфемерный и не слишком ворчливый гражданин метрополии, что слывет современной, ибо от прежних вкусов не оставили и следа в мебелировке и экстерьере домов, равно как и в плане города. Вы не заметите тут и следа какой-либо суеверной реликвии. Мораль и язык сведены к своему простейшему выражению – наконец-то! Эти миллионы людей, которым не нужно друг с другом знаться, ведут столь тождественно воспитание, работу и старость, что этот ход жизни должен быть во сто крат короче того, какой бредовая статистика обнаруживает у народов на материке. Подобно тому как мне видятся из окна новые призраки, катящие сквозь густую и вечную угольную завесу – наша тень от куш, наша летняя ночь! – эринии новые у моего коттеджа, в котором и родина мне, и все мое сердце, поскольку все тут похоже на это вот: смерть без слез, наша рьяная дочь и служанка, Любовь безнадежная и хорошенькое Злодейство, скулящее в уличной слякоти.

Перевод В. Козового

XVI. Колеи

Справа летний рассвет пробуждает листья, и дымки, и звуки этой окраины парка, и холмы слева держат в лиловой тени тысячи резвых колеи влажноватой дороги. Вереница феерий. И впрямь: повозки, груженные деревянным с позолотой зверьем, шестами и многоцветьем холстин, в тяжелом галопе двадцати пегих цирковых лошадей, – и дети верхом, и взрослые на

диковиннейших животных; двадцать возов шишастых, разубранных и цветущих, как древние или из сказок кареты, где полно детворы, разодетой для пригородной пасторали, – и едва ль не гробы под пологом тьмы, несущие плюмажи из эбена, проносящиеся на рысях налитых кобылиц, и синих, и черных.

Перевод В. Козового

XVII. Города

Вот города! Народ, ради которого воздвиглись из мечты все эти Аллеганы и Ливаны! Хоромы дерева и хрусталия скользят по невидимым рельсам и тросам. Старые кратеры, в опояске из медных колоссов и пальм, режут мелодично в огнях. Любовные празднества гулко звучат в каналах, подвешенных там, за хоромами. Прогонка звонов колокольных в горловинах вопиет. Певцы великанские цехом сбегаются, их наряды и вымпелы блещут сияньем вершин. И на платформах по-над безднами Роланды трубят свою отвагу. Над пропасти мостками и крышами приютов небесный жар по мачтам стелет завесь флагов. Ниспровержение апофеозов стремится к тем полям высотным, где серафические кентаврессы кружат среди лавин. Над вспученною линией хребтов – море взволновано вечным Венеры рождением, нагружено флотилией хоралов и шумом жемчуга и драгоценных раковин, – море подчас хмурится смертными отблесками. На склонах гудят урожаи цветов, огромных как наши кубки и клинки. Кorteжи многих Мэб в опаловых и рыжих платьях стремятся вверх по руслам. А выше, утопая копытами в каскадах с ежевикой, олени тянутся к сосцам Дианы. Вакханки из предместий рыдают, и в пламени воеет луна. Венера приходит в пещеры отшельников и кузнецов. Скопленья звонниц распевают замыслы народов. Неведомая музыка исходит из костяных дворцов. Проходят степенно легенды и топот лосиный теснится в проулках. Рай буревой крушится. Туземцы непрерывно танцуют праздник ночи. И часом я спустился в движение багдадского бульвара, где компании пели о радости новой работы, под бризом густым, кружащим, не в силах изгладить волшебные призраки гор, где должна быть назначена встреча.

Чья добрая рука, какой прекрасный час вернут мне ту страну, откуда родом и сны мои, и каждое движенье?

Перевод Я. Старцева

XVIII. Бродяги

О, жалкий брат! Я столько от него стерпел жестоких бдений! «Я вовсе не держался пылко за эту авантюру. Я потешался над его изъязном. Моя вина, что нам вернуться надлежало в ссылку, в рабство». Ему мерещились во мне довольно странные невинность и злосчастье, он предлагал тревожащие объяснения.

Я отвечал насмешкой сатанинскому врачу, в конечном счете выходил в окно. И за пределами полей, пересеченных лентами нечастой музыки, творил прообразы грядущей роскоши ночной.

После таких полугигиеничных отвлечений я вновь ложился на тюфяк. И, чуть не каждой ночью, едва засну, бедняга брат вскочив, с прогнившим ртом и выкаченным глазом – его кошмар себя! – волок меня в гостиную, свой сон с идиотской тоскою провить.

Но я же обязался, по чистоте души, вернуть его к исходному призванью сына Солнца, – и мы брели, питаясь погребным вином с дорожными галетами, я всё подыскивал рецепт и место.

Перевод Я. Старцева

XIX. Города

Общественный акрополь затмевает самые грандиозные замыслы современного варварства. Не опишешь матовый свет, порождаемый невозмутимо пепельным небом, имперским блеском строений и вечной заснеженностью земли. Здесь воссоздали, с пристрастием к диковатой чудовищности, все классические жемчужины архитектуры. Я присутствую на выставках живописи в помещениях стократ обширней, чем Hampton Court. Что за живопись! Какой-то норвежский Навуходносор возвел лестницы министерств; даже служители, которых я смог углядеть, – и те надменной

брахманов; и я трепетал, завидев часовых у колоссов и распорядителей на строительстве. При размещении зданий сумели, с помощью скверов, дворов и закрытых террас, удалить кучеров. Парки – сама первозданность природы, возделанной с великолепным искусством. В верхнем квартале встречается необъяснимое: морской рукав, без судов, катит льдистую синеву пелены между набережных, уставленных огромными канделябрами. Малый мост ведет к потайному ходу прямо под куполом Святой часовни. Этот купол являет собой оправу из обработанной стали, примерно в пятнадцать тысяч футов диаметром.

Кое-где с медных мостков, с площадок и лестниц, опоясывающих столбы и рынки, я, казалось мне, мог судить о бездонности города! Это – чудо, которое я был не в силах объять: каковы же уровни прочих кварталов над и под акрополем? Для чужеземца наших времен такой охват невозможен. Торговый квартал – это амфитеатр в одном стиле, с арочными галереями. Лавок не видно, однако снег на проезжей части изрыт; кое-какие набобы, немногочисленные, как прохожие в Лондоне воскресным утром, направляются к алмазному дилижансу. Кое-где – алый бархат диванов: подаются напитки арктические, цена которых от восьмисот до восьми тысяч рупий. При мысли искать в этом амфитеатре спектакли я отвечаю себе, что и в лавках, должно быть, сокрыты достаточно мрачные драмы. Полиция, думаю, есть; но закон, вероятно, столь необычен, что я отказываюсь от догадок о здешних сорвиголовах.

Предместье, изящное, как хорошенькая парижская улица, отличается наружным блеском; демократический элемент насчитывает несколько сотен душ. Дома и там стоят порознь; предместье причудливо растворяется в сельской местности – в «графстве», которое заполняют вечный закат лесов и сказочные насаждения, где неотесанное дворянство прокладывает свою летопись в лучах сотворенного света.

Перевод В. Козового

XX. Бдения

I

Вот отдых неяркий, без тоски и горячки, на кровати, а то на лужайке.

Вот друг – ни пылкий, ни слабый. Друг.

Вот милая – не мучительница и не мученица. Милая.

Среда и соседи, что сами нашлись. Жизнь.

– Так это разгадка?

– Мечте стало зябко.

II

Круг света вновь у дерева снаружи. Из дальних двух углов, по прихоти декора, смыкалась пара гармоничных возвышений. Стена перед бессонным – психологичная череда случайных фризмов, атмосферичных лент, геологических слоев, – быстрой чувственной грезой сентиментальных групп из самых разнороднейших созданий, в разнообразных антуражах.

III

Полуночные лампы с коврами создают шорох волн, вдоль корпуса и за кормой.

Полуночное море, точь-в-точь как грудь Амели.

Ковры, доходящие до середины, узорочье решетки, изумрудный налет, где бьются полуночные горлицы.

.....

Чёрные пятна костра, настоящие солнца изморья – о, колодцы чудес... Лишь проблески зари на этот раз.

Перевод Я. Старцева

XXI. Мистическое

На круче откоса ангелы взвили одежды свои шерстяные в траве изумрудно-стальной.

Огневые луга взмывают до самой вершины. Слева гребень холма истоптали побоища и убийства, и зловещие слухи струятся отсюда по склону. А справа, к востоку, над гребнем стоят путеводные вехи.

И в то время как все верхнее поле картины – сплошная неистовая круговерть ревущих раковин и ночей человеческих,

Цветение нежное звезд и небес и всего остального катится под откос, как корзинка, прямо на нас, превращаясь внизу в голубую цветущую бездну.

Перевод Ю. Стефанова

XXII. Заря

Я обнял летнюю зарю.

Ничто еще не шелохнулось на фасадах дворцов. Вода стояла. Кочевья тени не покидали лесную тропу. Я шагал, пробуждая живые и влажные дуновенья, и камни взглянули, и крылья раскрылись бесшумно.

Первым соблазном был – на тропинке, уже усеянной свежими и бледноватыми вспышками, – цветок, назвавший мне свое имя.

Я улыбнулся белесому вассерфалю, который пенился в пихтах: на серебристой верхушке распознал я богиню.

Тогда я сорвал, один за другим, все покровы. В аллее, размахивая руками. Равниной, где выдал ее петуху. В столице она уносилась среди колоколен и куполов, и я гнался за ней, как нищий, по мраморным набережным.

Где тропа поднималась, у лавровых зарослей, я обвил ее собранными покрывами и слегка ощутил ее исполинское тело. Заря и дитя рухнули в гущу зарослей.

По пробуждении стоял полдень.

Перевод В. Козового

XXIII. Цветы

С уступа в золоте – среди шелковистой тесьмы, дымного флёра, зеленых бархаток и кристаллических дисков, чернеющих, точно бронза на солнце, – вижу я, как раскрывается наперстянка на ковре филиграней из серебра, глаз и локонов. Монеты желтого золота, рассыпанные по агату, столбы акажу, несущие свод изумрудов, букеты атласные в белом и тонкие лозы рубина обступают кольцом розу влаги.

Будто некий бог – снежные формы, огромные голубые глаза, – море и небо к террасам мрамора влекут толпы юных и пышущих роз.

Перевод В. Козового

XXIV. Тривиальный ноктюрн

Порыв дырявит оперные бреши в занавесках, – срывает колыханье ржавых крыш, – рассеивает кромки очагов, – перемежает ставни. – По стеблю винограда, опершись ногою на какую-то горгулью, – я спустился в карету, эпоха которой довольно ясна из выпуклых стекол, из дутых панно и фигурных диванцев. – Похоронный фургон моих снов, одиноко, пастуший шалаш моего скудоумья, мой транспорт выворачивает вдруг на пышную обочину растаявшей большой дороги; и в правом сколоте угла окна кружатся бледнолунные фантомы, листья, груди;

– Картину застилает зеленью и синевою густой. Неподалеку срыв булыжной груды.

– Теперь иди, высвистывай грома, пускай Содомы – и Солимы – и армии, и яростных зверей. – (Возничий и приснившиеся звери не встрепенутся ль под удушливыми рощами, чтобы меня вдавить по самые глаза в источник шелковый.)

– И нас отправили исхлестанных сквозь хлюпающий ток и разливанное питье, катиться на бульдожий лай...

– Порыв рассеивает кромки очага.

Перевод Я. Старцева

XXV. Морской пейзаж

Из серебра и меди колесницы —

Стальные корабельные носы —

Взбивают пену, —

Прибрежные кусты качают.

Потоки ланд,

Гигантские промоины отлива,

Кругообразно тянутся к востоку,

К стволам лесной опушки,

К опорам дамб,

В чьи крепкие подкосы бьет круговертью смерть.

Перевод А. Ревича

XXVI. Зимний праздник

Каскада звон чуть в стороне от опереточных конструкций. Гирлянды продлевают, переливаясь, как Меандр, – закатные багрец и зелень. Причесаны под Первую империю горадиевы нимфы. – Сибирский хоровод. – Китáйки Буше.

Перевод Я. Старцева

XXVII. Тревога

Возможно ли, что Она мне простит устремления постоянно ничтожимые, – что спокойный конец искупит периоды скудости, – что день успеха нас усыпит над позорищем нашей роковой неспособности?

(О, пальмы! алмаз! – Любовь! сила! – превыше всех радостей и венцов! – всячески, повсеместно, – Демон, бог, – юность этого существа: я!) Что прихотливости научной феерии и движения социального братства дороги как растущее возмещение искренности первоизданной?..

Но Вампирша, при которой мы паиньки, велит нам развлекаться тем, что даёт, а иначе пусть будем посумасбродней.

Катиться под ссадины, сквозь воздух томящий и море; под бедствия, сквозь тишину вод и воздуха, смертоносных; под пытки смеющиеся, в их свирепо штормящую тишину.

Перевод В. Козового

XXVIII. Метрополитен

Из бирюзы пролива в морях Оссиана на оранжевый и розоватый песок, омытый винными небесами, ступили и пересеклись кристаллические бульвары, заселенные тотчас молодыми и бедными семьями, которые кормятся у зеленчиков. Никакой роскоши. – Город!

Из смоляной пустыни бегут напрямик в беспорядке под мглистыми пеленами, чьи жуткие свитки наслаиваются в небе, которое мнется, кукожится и ниспадает сплошной черной марью, самой Зловещей, какую способен в трауре создать Океан, каски, лодки, колеса, холки. – Сражение!

Подними голову: этот мост деревянный и выгнутый; последние вертограды Самарии; эти маски в румянах под фонарем, исхлестанным в стылую ночь; придурковатая, в шелесте платья, ундина у речного ската; светящиеся, среди гороховых стручков, черепа; и множество прочих фантазмагорий, – деревня.

Дороги, теснимые оградой и стенами, откуда рвутся кущи в простор, и свирепые цветики, которым носить бы имя сердец и сестер, так их булат остер, – вереницы, феерия аристократий за рейнских, японских, гуарани, еще способных воспринимать музыку древних, – и тут же харчевни, больше уж им не открыться; и тут же принцессы, и, если ты не совсем изнемог, наука о звездах, – небо.

Поутру, когда вы с Ней барахтались в снеговых блестках, – зеленые губы, льды, черные стяги, и голубые лучи, и пунцовые запахи солнца на полюсах, – твоя сила.

Перевод В. Козового

XXIX. Варварское

По забвению дней и сроков, и стран, и существ —

Вымпел, кровоточащее мясо над шелком морей и арктических цветиков (их нет в природе).

Воспрянув от прежних фанфар геройства – которые все еще барабанят нам в сердце и в мозг, – вдали от былых убийц.

– О, вымпел! кровоточащее мясо над шелком морей и арктических цветиков (их нет в природе).

Сладость!

Льются костры в хлесте инея, – Сладость! – искры в каскаде алмазных вихрей, который рвется из сердца земного, вечно обугленного ради нас – О, мир!

(Вдали от прежних убежищ, огней, какие пышут, какие слышишь.)

Костры и накипи. Музыка, разворот пучин и удар льдин о звезды.

О, Сладость, о, музыка, мир! И там вот – фигура, испарина, глаза и волосы, на лету! И белые слезы, вскипая, – о, сладость! – и голос женский со дна вулканов и арктических гротов.

Вымпел...

Перевод В. Козового

XXX. Распродажа

Продается весь хлам, что не распродан евреями, все, что не распробовано ни злодейством, ни благородством, все, что осталось неведомо для окаянной любви и кромешной честности масс; что не должны распознать время и наука. Возрожденные Голоса; братское пробуждение всей хоральной и оркестральной мощи вкупе с сиюминутным ее приложением; единственная в своем роде возможность высвобождения чувств!

Продаются бесценные Тела, независимо от расы, принадлежности к миру, полу, потомству! Сокровища на каждом шагу! Бесконтрольная распродажа алмазов!

Продаются анархия массам, неискоренимая пресыщенность – высокомерным знатокам, жестокая смерть – верующим и любовникам!

Продаются пристанища и кочевья, безупречные спортивные состязанья, феерии и житейские блага; продается творимое ими грядущее, гул его и напор!

Продаются прилежность расчетов и неслыханные взлеты гармонии. Непредсказуемые находки и сроки, мгновенная одержимость.

Безрассудный и бесконечный порыв к незримым великолепьям, к уладам, непостижимым для чувств, – и его тайны, губительные для любого порока, – и его устрашающее для толпы ликование.

Продаются Тела, голоса, неизмеримое и неоспоримое изобилие, все то, чего вовеки не распродашь! Торговцы не кончили распродажу! Лотошникам хватит работы еще надолго!

Перевод Ю. Стефанова

XXXI. Fairy

Ради Елены слились странные соки в девственном сумраке и невозмутимые светочи в звездном безмолвии. Жар лета был вверен птицам немым, а неизбежное равнодушие – бесценной ладье похоронной, чьи уключины – мертвые страсти и выдохшиеся ароматы.

Потом в свой черед запели жены дровосеков под рокот ручья в лесу разоренном, бубенцы коров зазвенели под оклик долин и крики степей.

Потом в свой черед запели жены дровосеков под рокот ручья в лесу разоренном, бубенцы коров зазвенели под оклик долин и крики степей.

Ради ее младенческих лет содрогнулись меха и тени – и бедняцкие спины, и легенды небес.

И очи ее и пляска превыше брызг драгоценных, превыше холодных влияний, превыше услад неповторимого места и мига.

Перевод Ю. Стефанова

XXXII. Война

Ребёнком – случились небеса, отточившие мне зрение; и всевозможные черты добавились в мой облик. И все Явленья всколыхнулись. – Теперь – извечная уклончивость мгновений и бесконечность математики гонят меня по миру, изнуряя всеми видами житейских преуспеваний, я уважаем за странность детства и непомерность отклонений. – Мне видится война, по праву иль по силе, где замыслы непредсказуемы.

Всё это не сложнее музыкальной фразы.

Перевод Я. Старцева

XXXIII. Юность

I

Воскресенье

Расчеты в сторону, неуклонимое сошествие небес, приход воспоминаний, сеанс ритмичности охватывают дом, и голову, и область духа.

– Срывается конь, беговая дорожка – и мимо посевов, и реденьких рощиц, истыкан угольной чумой. Несчастливая женщина, как из романа, неведомо где,

вздыхает о невероятных разлуках. Бандиты в томлении после грозы, попойки и ран. И дети глотают проклятия по-вдоль реки.

– Вернемся к учению под шум разрушительной стройки, растущей и зреющей в массах.

II

Сонет

Обычного сложенья человек, и плоть
повешенный в саду, не так ли, плод, – о,
дни порожденья! – тело дар, который тратят
влет – о,
любовь, напасть или энергия Души? И склоны
обильно плодородили артистами и принцами,
генеалогия и раса вас толкали на
злодейства и на траур: целый мир вам счастье,
и вам
погибель. Но теперь, труды свершив, ты и твои
расчеты,
ты, нетерпение твое – всего-то ваше пение и
ваши танцы, привольны, преходящи, хоть бы
разом
изобретенье и преуспевание причиной
для братства всех людей, так скромно
во вселенной
без образов; – но мощь и право отражают ваш
танец, ваше пение, нашедшие признание лишь
теперь.

III

Двадцатилетие

Отослано стогласье назиданий... Телесная наивность горько осажена... –
Адажио – Ах! Бесконечный эгоизм подростка, прилежный оптимизм: как мир

был полон цветами этим летом! Умирание форм и созвучий... – И хор для утешенья немощи и пустоты! И хор фужеров, и ночных мелодий...

На деле, нервы вмиг сорвутся в гон.

IV

Ты все еще в поре антониевых искушений. Забавы половинного задора, позывы подростковой спеси, опустошение и ужас. Но ты за этот труд возьмешься: возможности архитектуры и гармоний восколыхнутся у твоего подножья. И совершенные, нежданные созданыя откроются твоим пытанием. Мечтательно прихлынет близ тебя все любопытство древних толпищ и роскоши досужей. И память с чувствами твои всецело будут пищей для творческого рвения. А что до мира – чем он станет, когда ты выйдешь? Во всяком случае, не тем, что видно ныне.

Перевод Я. Старцева

XXXIV. Мыс

Золотая заря и зябкое повечерье встречают наш бриг в открытом море, в виду этой виллы со всеми ее пристройками, которыми занят весь мыс – а он не уступит Эпиру и Пелопонесу, или главному из Японских островов, а то и Аравии! Святилища озаряются при возвращении процессий; неоглядные виды современных береговых укреплений; дюны в убранстве жарких цветов и вакханалий; исполинские каналы Карфагена и сваи обманной Венеции; вялые извержения Этны и расщелины в ледниках, где полно воды и цветов; мостки, осененные тополями Германии; откосы диковинных парков, где клонятся кроны японских деревьев; и круговые фасады роскошных отелей Скарборо или Бруклина; и рельсы надземки, что опоясывают, пронизывают и перекрывают постройки этого Отеля, возведенные по образцу самых изящных и колоссальных зданий Италии, Америки и Азии, – постройки, чьи окна и террасы, полные вечером света, хмеля и свежего ветра, открыты для путешественников и для знати, – а днем позволяют и береговым тарантеллам, и даже ритурнелям из долов, славных искусством, дивно украсить фасады Мыса-Дворца.

Перевод Ю. Стефанова

XXXV. Сцены

Как прежде Комедия держит аккорды и делит Идиллии:

Сплошные бульвары подмосток.

Долгий пирс деревянный от края до края булыжного поля, где варвары толпою проплывают среди ободранных деревьев.

В проходах черной саржи, в ритм прогулочного шага, под фонари с листвою.

И птицы из мистерий бьются об известчатый понтон, трясомый островным скоплением из лодок зрителей.

И флейта с барабаном аккомпанируют лирические сцены, клонящиеся в ниши там, под потолком, вокруг салонов современных клубов и зал античного Востока.

Феерия лавирует на вышине амфитеатра, увенчанного порослью, – иль вьется и снует для стоеросов, на бровке межкультурья, в тени от колыхания лесин.

И водевили делятся на сцене по бровке стыка десяти кулис, идущих от рядов и до огней.

Перевод Я. Старцева

XXXVI. Исторический вечер

В какой бы вечер, предположим, ни обнаружился наивнейший турист, сбжавший от наших экономических кошмаров, касанье мастера одушевляет клавишин лужаек; играют в карты в глубине пруда – зеркала, проявляющего королев и фавориток, тут и святые девы, и вуали, и сыновья гармонии, и хроматизмы легендарные к закату.

Его бросает в дрожь, когда проносятся охоты с кутерьмою. Комедия сочится на парковых подмостках. Но как нелепы мелкий люд и бедняки в таких дурацких перспективах!

В его покорном взоре – Германия под луны громоздится; завиднелись татарские пустыни – старинные бунты кишат посередине Поднебесной; по лестницам и королевским тронам – невзрачный бледноватенький народец,

Магриб и Запады, себя воздвигнет. Потом известные балеты морей с ночами, недорогая химия и неладья мелодий.

Все та же магия буржуазии во всех концах, куда б ни занесла нас почта! И лекарь-недоучка сразу чувствует, что невозможно дольше поддаваться столь индивидуальному настрою, и мареву телесных угрызений, уже одно признание которых горько.

Нет! – Время пропарки, подъятых морей, подземного пламени, сноса планеты и методичнейших истреблений, – всего, что незлобиво намечено и Библией и Норнами, а ныне поднадзорно существу вполне серьезному. – На этот раз вершится не легенда.

Перевод Я. Старцева

XXXVII. Bottom[2]

Хотя и была действительность слишком терниста для моего норова, я очутился все же у моей дамы – большущей серо-голубоватой птицей, обсыхающей среди лепнин потолка и тянущей крылья в затеми вечера.

Я был – у ног балдахина, несущего ее возлюбленные жемчуга и ее совершенства телесные, – большущим медведем с лиловыми деснами и шерстью в сединах печали, с хрусталем серебром консолей в глазах.

Все стало – тьма и жгучий аквариум. Поутру – задорной июньской зарей – я унесся, осел, в поля, трубя, потрясая своей обидой, покуда сабинянки из предместья не бросились мне на сивую грудь.

Перевод В. Козового

XXXVIII. Г

Все чудовищности уродуют свирепую хватку Гортензии. Ее уединенность – механика эротическая. Ее утомленность – динамика любящая. Под присмотром детства она – в многочисленные эпохи – была пламенной гигиеной рас. Ее двери распахнуты нищете. Там нравственность современного люда развоплощается в ее страсть или власть. – О, трепет нещадный

желторотых любвей на почве кровавой и в кислородном свете! найдите
Гортензию.

Перевод В. Козового

XXXIX. Движение

Извилистый бег по откосу речных водопадов,
Зияние по ахтерштейню,
Проворство уклона,
Ход необъятный потока
Влекут неизведанным светом
И новейшею химией
Путников через долинные смерчи,
Через торнадо.
Они – покорители мира,
В поисках формулы личной удачи;
Спорт и комфорт путешествуют с ними,
Они привозят воспитание
Народов, классов, диких тварей на этом Корабле.
Дурнота и покой
С допотопным еще освещеньем,
С вечерами учений унылых.
Поскольку болтовни среди устройств – кровь,
 украшения, огонь, цветы,
Взведенные счета на беглом судне,
– И можно разглядеть как бы катящуюся
 дамбу за водномеханическим путем,
Чудовищный пакгауз их отчетов – непрестанно
 лучезарен;
Их, загнанных в героику открытий
И в гармонический экстаз.
Среди врасплох пришедших атмосферных

неудобств

Из юности двое, уединившись в ковчеге,

– Прощаем ли древнюю дикость? —

Поют неусыпно.

Перевод Я. Старцева

XL. Поклонение

Сестре моей Луизе Ванаэн де Ворингем: – Синюшный чепчик, раскрытый Северному морю. – За потерпевших кораблекрушенья.

Сестре моей Леонии Обуа д'Ашби. Бау – клочок летних трав, жужжащий и вонючий. – За горячку матерей и их детей.

Люлю, – о, демон, – кому всегда по вкусу коленопреклоненья подружеского часа, с его незавершённым обучением. За мужчин! И даме NN.

Подростку, которым я был. Тому святому старцу, в скиту иль миссии.

Духу бедности. И наивысочайшему клиру.

А также и любому культу и месту памятного культа, среди таких событий, где бы надо непременно быть, последовав наитию момента иль нашим собственным и тягостным грехам.

И этим вечером – Цирцето вышних льдин, как рыба жирной, иллюминированной словно десять месяцев багряной ночи, – (чьё сердце и амбра, и sprunck), – за одинокую молитву, безмолвную как те края ночные, предвосхищающую подвиги, что побуйней, чем сам полярный хаос.

Любой ценой и всеми ипостасями, пускай в метафизическом хождении. – Все на этом.

Перевод Я. Старцева

XLI. Демократия

«Флаг рвется в омерзительный пейзаж, наш говорок приглушит барабан».

«По центрам будет размещаться циничнейшая проституция. Нещадно будут подавляться логичные бунты».

«В раскисшие травленные края! – на службе чудовищнейших фабрик промышленных или военных».

«До встречи тут, куда неважно. Мобилизация охотна, и наша философия жестока; несведущи в науках, искушены в удобствах; траншея будущего мира.

Вот настоящий ход. Вперед, на марш!»

Перевод Я. Старцева

XLII. Гений

Он – преданность и день насущный, ибо выстроил дом, распахнутый пенной зиме и ропоту лета, – он, кем очищены напитки и пища, в ком чарование неразгаданных мест и сверхчеловеческое блаженство стоянок. Он – преданность и день грядущий, сила и любовь, которые видятся нам, застоявшимся в ярости и тоске, на лету в штормовых небесах и знаменах восторга.

Он – любовь, новонайденная безупречная мера, смысл дивный, неожиданный – и вечность: машина возлюбленная роковых совершенств. Все мы познали ужас его безвозбранности с нашей вместе: о, наше ликующее здоровье, порыв способностей, Эгоизм влечения и страсть к нему – тому, кто нас любит во имя своей немеркнувшей жизни!..

И мы вспоминаем о нем, и он странствует... Если ж расходится, звенит Осанна, то звенит его весть: «Прочь эти путы суеверий, уютов, эти ветхие тела и лета! С этой эпохой покончено!»

Он не выйдет, не спустится с неба, не искупит гневливости женщин, веселья мужчин и всей этой скверны: ведь это свершилось, ибо он есть и любим.

О, его вихри, липа, концы: в устрашающей смене чистейших форм и движений!

О, неисчерпаемость разума и безбрежность вселенной!

Его тело! вожделенный исход, прибой благодати, скрещенной с новым неистовством!

Его взор, его взор! все былые коленопреклонства и муки возвышены вслед.

Его свет! истребление всяческих звучных и подвижных скорбей в музыке более пламенной.

Его шаг! поступь более неисчислимая, чем нашествия древних.

О, мы и Он! гордость более милостивая, чем благодать утраченная.

О, мир! и светлая песнь новых бедствий!

Он всех нас узнал и всех возлюбил. Сумеет же в эту зимнюю ночь, с мыса к мысу, от буйного полюса к замку, из толпы к взморью, от взгляда ко взгляду, почти без сил и без чувств, его окликать, его видеть и с ним расставаться и, под бурунами, на гребне снежных пустынь, настигать его вихри, взоры, его тело и свет.

Перевод В. Козового

Пора в аду

(Брюссель, 1873)

* * *

Когда-то, насколько я помню, жизнь моя была пиром, где раскрывались сердца, где пенились вина.

Как-то вечером посадил я Красоту себе на колени. – И горькой она оказалась. – И я оскорбил ее.

Я – ополчился против справедливости.

Обратился в бегство. О колдуньи, ненависть и нищета, вам доверил я свое сокровище!

Я сумел истребить в себе всякую надежду. Передушил все радости земные – нещадно, словно дикий зверь.

Я призвал палачей, чтобы в час казни зубами впиться в приклады их винтовок. Накликал на себя напасти, чтобы задохнуться от песка и крови. Беду возлюбил как бога. Вывалялся в грязи. Обсох на ветру преступления. Облапошил само безумие.

И весна поднесла мне подарок – гнусавый смех идиота.

Но вот на днях, *едва не дав петуха* на прощанье, решил я отыскать ключ к минувшим пиршествам и, может быть, вновь обрести пристрастие к ним.

Ключ тот – милосердие. – И найтёе это подтверждает, что все бывое – лишь сон.

«Навек останешься ты гнусью и т. д., – воскликнул демон, наградивший меня венком из нежных маков. – Ты достоин гибели со всеми страстями твоими, себялюбием и прочими смертными грехами».

Да, много же я взял на себя! Но не раздражайтесь так, любезный Сатана, умоляю вас! И в ожидании каких-нибудь запоздалых мелких пакостей позвольте поднести вам эти мерзкие листки из записной книжки проклятого – вам, кому по душе писатели, начисто лишённые писательских способностей.

Перевод Ю. Стефанова

Дурная кровь

От предков-галлов у меня молочно-голубые глаза, куриные мозги и неуклюжесть в драке. Полагаю, что и выржен я так же нелепо, как и они. Разве что не мажу голову маслом.

Галлы свеживали скот, выжигали траву – и все это делали как недотепы.

От них у меня: страсть к идолопоклонству и кощунству; всевозможные пороки – гнев, похоть – о, как она изумительна, похоть! – а также лживость и лень.

Все ремесла мне ненавистны. Хозяева, рабочие, скопище крестьян – всё это – быдло. Рука пишущего стоит руки пашущего. Вот уж, поистине, ручной век!

А я был и останусь безруким. Прирученность в конце концов заводит слишком далеко. Благородное нищенство надрывает мне душу. Преступники же омерзительны, словно кастраты; впрочем, плевать я на все это хотел – мое дело сторона.

Откуда, однако, в языке моем столько коварства, что он до сих пор ухитрялся вести и блюсти мою лень? Я жил, не зная пользы даже от собственного тела, праздный, как жаба, – и где я только не жил! С кем только я не знался в Европе! Я имею в виду семейства вроде моего собственного, последышей декларации Прав Человека. – Знал я и отпрысков таких семейств!

Ах, если бы у меня нашлись предшественники хоть на каком-нибудь перепутье французской истории!

Но таковых нет и в помине.

Ясное дело, я человек без роду, без племени. Не понять мне, что такое бунт. Такие, как я, восстают только для грабежа – так шакалы рвут на куски не ими убитого зверя.

Вспоминаю историю Франции, страны, что слывет старшей дочерью Церкви. Должно быть, простым мужиком добрался я до Святой земли; из головы нейдут дороги средь швабских долин, виды Византии, крепостные стены Солима; культ Марии, умиление при виде Распятого воскресают во мне рядом с тысячами мирских чудес. – Я, прокаженный, сижу на груди черепков, в зарослях крапивы, у подножия изглоданной солнцем стены. – А столетия спустя, солдат-наемник, я, должно быть, ночевал под небом Германии.

Да, вот еще что: я отплясываю на шабаше посреди багровой поляны, вместе со старухами и детьми.

Не воображаю себя вне этой земли, вне христианства. Никогда не перестану представлять себя в этом прошлом. Но вечно одиноким и бесприютным; не помню даже, по-каковски я говорил. Не могу вообразить себя среди отцов церкви, в кругу сильных мира сего – христовых наместников.

А кем был я в минувшем веке? Ведь я обрел себя только сегодня. Нет больше ни бродяг, ни смут. Все на свете заполонила чернь – теперь ее величают народом; разум, нация, наука.

О, наука! Все в ее власти! Для тела и для души – взамен святого причастия – медицина и философия, сиречь снадобья добрых кумушек и народные песни в новейшей аранжировке. И утехи владык, и запретные некогда игры! География, космография, механика, химия!..

Наука, новая аристократия! Прогресс. Мир движется вперед! А отчего бы ему не вертеться на месте?

О видение чисел! Мы близимся к царству *Духа*. За верность этого пророчества я ручаюсь. Мне оно понятно, но раз я не могу обойтись без языческих словес, лучше умолкнуть.

Языческая кровь заговорила! Царство Духа близко, так отчего же Христос не дарует моей душе благородство и свободу? Увы! Евангелие изжило себя! Евангелие! Евангелие!

Я жду Бога, как гурман ждет лакомое блюдо. Ведь я плебей испокон веков. Вот я на Армориканском взморье. Пусть города полыхнут в закатном огне. Мой день подошел к концу, покидаю Европу. Морской воздух прожжет мне легкие, солнце неведомых широт выдубит кожу. Я буду плавать, валяться по траве, охотиться и, само собой, курить; буду хлестать крепкие, словно расплавленный металл, напитки – так это делали, сидя у костра, дражайшие мои пращуры.

Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы, загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на меня, всякий сразу поймет, что я из породы сильных. У меня будет золото; я буду праздным и жестоким. Женщины любят носиться с такими вот свирепыми калеками, возвратившимися из жарких стран. Я ввяжусь в политические интриги. Буду спасен.

Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы, загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на меня, всякий сразу поймет, что я из породы сильных. У меня будет золото; я буду праздным и жестоким. Женщины любят носиться с такими вот свирепыми калеками, возвратившимися из жарких стран. Я ввяжусь в политические интриги. Буду спасен.

А пока что я проклят, родина ужасает меня. Лучше всего – напиться в стельку и уснуть прямо на берегу.

Никуда не уедешь. – Побреду по здешним дорогам, изнемогая под бременем порока, пустившего во мне свои мучительные корни еще в пору пробуждения разума, – порока, что растет до небес, бичует меня, валит наземь и волочит за собой.

Последки невинности, последки застенчивости. Этим все сказано. Не выставлять же напоказ своё отвращение, свои измены.

Ну что ж! Пеший путь, бремя, пустыня, тоска и гнев.

К кому бы мне наняться? Какому чудищу поклониться? Какую святыню осквернить? Чьи сердца разбить? Что за ложь вынашивать? По чьей крови ступать?

Главное – держаться подальше от правосудия. – Жизнь жестока, отупляюще проста, – скинуть, что ли, иссохшей рукой крышку с гроба, лечь в него, задохнуться? Тогда не страшны тебе ни старость, ни опасности: ужасы вообще не для французов.

– Ах, я так одинок, что готов свой порыв к совершенству принести в жертву любому облику божества.

О мое самоотречение, о дивное мое милосердие! Но и они – увя! – от мира сего!

De profundis Domine! Ну и болван же я!

Еще в раннем детстве я восторгался неисправимым каторжником, вокруг которого навеки сомкнулись тюремные стены; я обходил постоянные дворы и мебелишки, освященные его присутствием; *его глазами* смотрел я на голубизну небес и цветоносные радения полей; его роковую судьбу чуял в городах. Он был могущественней любого святого, пронизательней любого первопроходца, и он, лишь он один, был свидетелем собственной славы и правоты.

Когда я, бесприютный, изголодавшийся, оборванный, скитался зимними ночами по дорогам, чей-то голос заставлял сжиматься мое окоченевшее сердце: «Слабость или сила – выбирай! Ты выбрал силу. Ты не знаешь, куда и зачем идешь, – входи же в любой дом, отвечай на любой вопрос. Смерть грозит тебе не более, чем трупу». К утру во взгляде моем сквозила такая оторопь, а все обличье так мертвело, что прохожие, *должно быть, не видели меня.*

Городская грязь внезапно казалась мне черно-красной, словно зеркало при свете керосиновой лампы, которую переносят с места на место в соседней комнате, словно спрятанный в лесу клад. «Вот здорово!» – кричал я, видя в небесах целое море огня и дыма, а слева и справа – груды сокровищ, полыхающие мириадами молний.

Но гульба и дамское общество были не для меня. Ни одного товарища. Вижу себя перед взбудораженной толпой, лицом к лицу со взводом, построеным для исполнения приговора: я плачу оттого, что они не могут меня понять, и прощаю их, как Жанна д'Арк. – «Священники, хозяева жизни, учителя, вы ошибаетесь, предавая меня в руки правосудия! Нет у меня ничего общего с этим людом; я никогда не был христианином; я из племени тех, кто поет под пыткой; я не понимаю законы; нет у меня понятия о морали; я дикарь – вы ошибаетесь...»

Недоступна мне ваша просвещенность. Я скотина, я негр. Но я могу спастись. А вот вы – поддельные негры, кровожадные и алчные маньяки. Торгаш, ты негр; судья, ты негр; вояка, ты негр; император, старый потаскун, ты негр, налакавшийся контрабандного ликера из погребов Сатаны. – Весь этот сброд дышит лихорадкой и зловонием раковой опухоли. Калеки и старикашки внушают мне такое почтение, что так и хочется сварить их живьем. – Надо бы исхитриться и покинуть этот материк, по которому слоняется безумие, набирая себе в заложники эту сволочь. Вернуться в истинное царство сынов Хама.

Ведомо ли мне, что такое природа? И кто таков я сам? – *Довольно слов.* Я хороню мертвецов в собственном брюхе. Крики, гром барабана, пляс, пляс! Не хочу и думать о том часе, когда, с прибытием белых, меня поглотит небытие. Голод, жажда, крики, пляс, пляс, пляс, пляс!

Белые высаживаются. Пушечный залп! Придется принять крещение, натянуть на себя одежду, работать.

Прямо в сердце мне снизошла благодать – вот чего уж я не ожидал!

Я никому не причинял зла. Дни мои будут легки, я буду избавлен от покаяния. Душа моя не изведает мук – она почти мертва для добра, источающего жуткое, словно от похоронных свеч, сияние. Удел маменькиного сынка – безвременная могила, орошённая прозрачными слезами. Разврат, конечно, вздор, порок – тоже, всю эту гниль надо отшвырнуть куда подальше. Но еще не настало время, когда бой часов будет возвещать лишь чистейшую скорбь. А быть

может, меня похитят, словно ребенка, и я, забыв все несчастья, буду себе играть в раю!

Торопись! Кто знает, ждут ли нас иные жизни? – Сон и богатство несовместимы. Богатство всегда принадлежало обществу. Лишь божественная любовь дарует нам ключи познания. Я удостоверился, что природа – это всего лишь видимость добра. Прощайте, химеры, идеалы, заблуждения!

Рассудочное пение ангелов доносится со спасительного корабля: то глас божественной любви. – Любовь земная и любовь небесная! Я могу умереть лишь от земной, умереть от преданности. Я покинул тех, чьи души истомятся в разлуке со мной. Ищите меня среди потерпевших кораблекрушение, но разве оставшиеся – не мои друзья? Спасите же их! Я поумнел. Мир добр. Я благословлю жизнь. Возлюблю братьев моих. Все это теперь уже отнюдь не детские обещания. Давая их, я не надеюсь бежать старости и смерти. Бог укрепляет меня, и я славлю Бога.

Мне разонравилась скука. Буйство, безумие, блуд – мне знакомы все их выверты, все чинимые ими несчастья, – я сбросил с себя их бремя. Оценим же трезво, сколь велика моя безгрешность.

Я уже не способен довольствоваться поркой. Не на свадебный пир я еду, не собираюсь навязываться в зятя к Христу.

Я не пленник разума моего. Я сказал: Бог. Я жажду свободы в спасении, но где ее искать? Я оставил легкомысленные пристрастия. Не нуждаюсь ни в самоотвержении, ни в божественной любви. Не жалею с том, что минул век чувствительных сердец. И презрение и милосердие по-своему правы: я оставляю за собой место на верхушке этой ангелической лестницы здравого смысла.

Что же касается прочного счастья, семейного ли, иного ли... нет, нет, увольте! Слишком я беспутен, слишком слаб. Жизнь красна трудом – старая истина, – но моя жизнь чересчур легковесна: она взмывает и парит над поприщем деяний, столь ценным всем светом.

Как же я похож на старую деву – не хватает мне мужества возлюбив смерть!

О, если бы Господь даровал мне воздушное, небесное спокойствие, молитву – как древним святым! Святые! Сильные духом! Анахореты, художники, – да только кому вы теперь нужны? Нескончаемый фарс! Чего доброго, собственная безгрешность доведет меня до слез. Жизнь – это вселенский фарс.

Довольно! Час возмездия пробил. – Вперед!

Легкие мои пылают, в висках гудит. Ночь, подгоняемая солнцем, катится мне в глаза! О сердце мое... о мое тело...

Куда мы идем? На бойню? Как же я слаб! Враг все ближе. Орудия, оружие... Пора!..

Стреляйте! Ну, стреляйте же в меня! Вот сюда! Или я сдамся. – Труссы! – Я покончу с собой! Брошусь под копыта коней!

Ах!..

– Ко всему можно привыкнуть.

То будет чисто французская судьба, стезя чести!

Перевод Ю. Стефанова

Ночь в аду

Изрядный же глоток отравы я хлебнул! – О, трижды благословенное наущение! – Нутро горит. В три погибели скрутила меня ярость яда, обезобразила, повалила наземь. Я подыхаю от жажды, нечем дышать, даже кричать нет сил. Это – ад, вечные муки! Смотрите, как пышет пламя! Припекает что надо. Валяй, демон!

А ведь мне мерещилась возможность добра и счастья – возможность спасения. Но как описать этот морок, если ад не терпит славословий? То были мириады прелестных созданий, сладостное духовное пение, сила и умиротворенность, благородные устремления, да мало ли что еще?

Благородные устремления!

А ведь я пока жив! – Но что, если адские муки действительно вечны? Человек, поднявший руку на самого себя, проклят навеки, не так ли? Я верю, что я в аду, стало быть, так оно и есть. Вот что значит жить согласно догмам катехизиса. Я – раб своего крещения. Родители мои, вы сделали меня

несчастливым, да и самих себя тоже. Бедная невинная овечка! Но преисподней не совладать с язычниками. – Я все еще жив! Со временем прелести проклятия станут куда ощутимей. Поторопись, преступление, ввергни меня в небытие, исполняя человеческий закон.

Замолчи, да замолчи же!.. Попреки здесь постыдны: Сатана утверждает, что огонь этот гнусен, а мой гнев чудовищно глуп. – Довольно!.. Хватит с меня всех этих лживых нашептываний, всех этих чар, сомнительных ароматов, ребяческой музычки. – Подумать только, я мнил, будто владею истиной, знаю, что такое справедливость, способен здраво рассуждать, созрел для совершенства... Ну и гордыня! – Кожа на голове ссыхается. Пощады! Господи, мне страшно. Пить, как хочется пить! Где ты, детство, трава, дождь, озеро в каменистых берегах и *лунный свет над колокольней, когда куранты полночь бьют...* В тот самый час, когда на колокольню навевается дьявол. Мария! Пресвятая Дева!.. Какой же я жуткий болван.

А кто это там, внизу, уж не благие ли души, желающие мне добра?.. Ну что же вы медлите?.. Меня хотят удушить подушкой, до них не докричишься, это всего лишь призраки. К тому же никто и никогда не думает ни о ком, кроме себя. Не подходите ко мне. От меня разит паленым, это уж точно.

Наваждениям нет конца. Так оно и всегда со мной было: в историю я не верил ни на грош, о высших принципах забывал. Однако умолчу об этом, не то песнопевцам и ясновидцам станет завидно. Я в тысячу раз богаче их, зато и скуп, как морская пучина.

Ах, вот оно что! Часы жизни только что остановились Я уже вне мира. – Теология – штука серьезная, преисподняя и впрямь находится в *самом низу*, а небо – вверху. – Исступление, кошмар, сон в огненном гнездышке.

Да сколько же вокруг всяческой злобы и лукавства!.. Вот сатана Фердинан несется, рассеивая плевелы... Иисус шагает по багровому терновнику, не пригибая веток... Шагал же он и по бурному морю! При свете волшебного фонаря мы видели, как он стоит – весь белый, только пряди волос каштановые – на гребне изумрудной волны...

Сейчас я раскрою все тайны: тайны природы и религии, тайны смерти и рождения, будущего и прошлого, тайны сотворения мира и небытия. Я ведь мастак по части фантазмагорий.

Послушайте!..

Какими только талантами я не наделен! – Здесь вроде бы никого нет, и в то же время есть кто-то: не хотелось бы мне расточать перед ним свои совершенства. – Хотите услышать негритянские песни, увидеть пляски гурий? Хотите, чтобы я исчез, нырнув *за кольцом!* Хотите, я вам и золото могу сотворить, и разные снадобья.

Доверьтесь же мне – вера утешает, исцеляет, наставляет на путь истинный. Приидите ко мне, все – даже малые дети, – и я вас утешу, раздарю вам мое сердце, мое волшебное сердце! – Бедняки, труженики! Я не прошу от вас молитв, только доверьтесь мне – и я буду счастлив.

– И давайте подумаем обо мне. Я не слишком сожалею о мире. Мне везет уже потому, что я не страдаю больше прежнего. Жизнь моя была лишь вереницей сладостных сумасбродств, как ни прискорбно.

Да что уж там: давайте кривляться кто во что горазд.

Мы определенно вне мира. Ни единого звука. Я ничего не ощущаю. О, замок мой, моя Саксония, старые мои ивы! Рассветы, закаты, ночи, дни... Как я устал!

Я должен был бы заслужить ад за гнев, ад за гордыню, ад за сладострастие – целую симфонию адских мук!

Я умираю от усталости. Я в гробу, я отдан на съедение червям, вот ужас так ужас! Сатана-лицедей, ты хочешь известить меня своими чарами. Я умоляю. Умоляю! Хоть один удар вилами, хоть одну каплю огня!

Ах, вернуться бы к жизни! Хоть глазком взглянуть на ее уродства. Тысячу раз будь проклята эта отравка, этот адский поцелуй. А все моя слабость и жестокость мира! Господи Боже, смилуйся, защити меня, уж больно мне плохо! – Я и защищен, и беззащитен.

И вздымается пламя с горящим в нем грешником.

Словеса в бреду

I

Неразумная дева. Инфернальный супруг

Послушаем исповедь союзника по преисподней:

«– О божественный Супруг, Господин мой, не откажитесь выслушать исповедь несчастнейшей из всех ваших служанок. Пропавшей. Хмельной. Нечистой. Ну разве это жизнь!

Даруйте мне прощение, божественный Супруг, даруйте прощение! Прощение!

Сколько слез! И сколько, надеюсь, их пролито будет потом!

Потом я познаю божественного моего Супруга! Я родилась, чтобы служить Ему. – Но теперь пусть надо мной измывается другой!

Теперь я на самом дне мира! О подруги мои!.. Да какие уж там подруги... Что за неслыханный бред, что за невиданные пытки... Глупость все это!

О, я страдаю, я кричу. Я и впрямь страдалица. И, однако, все мне дозволено – мне, облитой презрением самых презренных душ.

Решимся же, наконец, на это признание, хотя бы его пришлось повторять еще раз двадцать, – так оно тускло, так ничтожно!

Я рабыня инфернального Супруга, того самого, что отверг неразумных дев. Того самого демона... Он не призрак, не наваждение. Это меня, утратившую благоразумие, проклятую и мертвую для мира, – меня уже никому не убить! – Как вам описать его? Ведь я даже говорить разучилась. Я в трауре, в слезах, мне страшно. Хоть бы глоток свежего воздуха, Господин мой, если будет на то ваша воля, если вы ко мне благоволите!

Я вдова... – Была вдовой... Ну да, когда-то я была вполне благоразумной, и не для того же я родилась, чтобы обратиться в скелет!.. А он был сущим ребенком... Меня ввергла в соблазн его таинственная утонченность. Я совершенно забыла человеческий долг – и бросилась за ним. Ну разве это жизнь! Жизни нет и в помине. Мы не живем. Я иду туда, куда идет он, так

надо. А он еще то и дело срывает на мне свою злобу – на *мне-то*, на *бедняжке!* Демон! – Точно вам говорю, Демон, а не человек.

Он твердит: «Терпеть не могу женщин. Любовь следовало бы изобрести заново, это всякому ясно. У женщин одно на уме: добиться обеспеченности. А коль скоро цель достигнута, всякие там душевные порывы и красота – все это мигом улечивается, остается лишь ледяное презрение, хлеб насущный теперешнего брака. Встретится иной раз женщина, явно счастливая – с такой я охотно подружился бы, – но ее, оказывается, уже успел обглодать до костей какой-нибудь похотливый подонок...»

Я слушаю, как он превращает позор в славу, а жестокость – в очарование. «Я выходец из дальних краев, мои предки были скандинавами. Они дырявили друг друга, пили человеческую кровь. – Я изрубцую все свое тело, покрою себя татуировкой, я хочу стать безобразным, как монгол: ты еще услышишь, как я буду горланить на улицах. Мне хочется обезуметь от ярости. Не смей показывать мне драгоценности, иначе на меня нападут корчи. Никогда я не стану работать...» Не раз по ночам сидевший в нем демон набрасывался на меня, мы катались по полу, я боролась с ним. – Часто, напившись, он в поздний час прятался в закоулках или за домами, чтобы до смерти испугать меня. – «Мне наверняка перережут глотку; ну и пакость!» Ох уж эти денечки, когда он прикидывался головорезом!

Иногда он, нежно присюсюкивая, заводит речь о смерти, зовущей к покаянию, о горемыках, которых не скинешь со счета, о каторжном труде, о разлуке, разрывающей сердца... В притонах, где мы пьянствовали, он плакал при виде толпящейся вокруг нищей братии. Подбирал пропойц на темных улицах. Жалел мать-мегеру ради ее малышей. – И удалялся с видом девочки, отличившейся на уроке Закона Божия. – Он похвалялся, что разбирается во всем: в коммерции, искусстве, медицине. – А я ходила за ним по пятам, так было надо.

Я представляла себе обстановку, которой он мысленно себя окружал: одежду, драпировки, мебель; случалось, что я даровала ему герб или новое обличье. Я

видела все, что его трогало, все, словно он сам создавал все это для себя. Когда мне казалось, что его одолевает хандра, я участвовала во всех его диковинных и головоломных проделках, пристойных или предосудительных; но мне было ясно, что в его мир мне навеки не будет доступа. Сколько ночей я провела без сна, склонившись над этим родным, погруженным в дремоту телом и раздумывая, почему он так стремится бежать от действительности. Ведь никто из людей не задавался еще подобной целью. Я понимала – нисколько за него не опасаясь, – что он может представлять серьезную опасность для общества. – Быть может, он владеет тайнами, способными изменить жизнь? Нет, он только ищет их, – возражала я самой себе. В конце концов, его милосердие, я была его пленницей. Ни у одной живой души не хватило бы сил – сил отчаянья! – чтобы выносить это милосердие, выдерживать его покровительство и любовь. Впрочем, я не представляла его себе с какой-либо иной душой: нам дано видеть только собственного ангела-хранителя, а отнюдь не чужого – так мне кажется. Я жила в его душе, как во дворце, всех обитателей которого выдворили, чтобы не осталось в нем никого, хоть чуточку менее благородного, чем вы сами, вот и все. Увы! Я зависела от него. Но что за корысть ему была в моем бесцветном и презренном существовании? Он не влиял на меня благотворно, разве только не губил меня! В печали и досаде я иногда говорила ему: «Я тебя понимаю». Он пожимал плечами.

Беспреданно одолеваемая приступами тоски, чувствуя себя все более заблудшей как в своих собственных глазах, так и в глазах тех, кто пожелал бы на меня взглянуть, не будь я приговорена ко всеобщему забвению, – я все больше и больше жаждала его доброты. Его поцелуи и дружеские объятия возносили меня прямо на небеса, сумрачные небеса, где я хотела остаться навсегда – бедной, глухой, немой и слепой. Я уже стала к этому привыкать. Я представляла нас двумя паиньками, которым разрешено гулять в Райском саду печали. Мы подходили друг к другу. Охваченные единым порывом, мы усердствовали изо всех сил. Но после пронзительных ласк он говорил: «Интересно, что будет с тобою, когда меня с тобой не будет, – ведь ты уже

испытала такое. Когда руки мои уже не будут обвивать твою шею, и ты не сможешь склонить голову мне на грудь, когда мои губы уже не будут касаться твоих глаз! Ведь рано или поздно мне придется уехать – далеко-далеко. К тому же мне нужно помочь и другим – это мой долг. Хотя это все не очень-то весело, душа моя...» И я тотчас представляла себе, как после его отъезда, во власти головокружения, я брошусь в мрачайшую из бездн – в бездну смерти. Я заставляла его обещать, что он не оставит меня. Он по двадцать раз повторял то любовное обещание. Оно было столь же легковесным, как и мои уверения: «Я тебя понимаю».

О, никогда я не ревновала его. Я думаю, он не покинет меня. А иначе – что с ним станется? Ни одной близкой души, и за работу он никогда не возьмется. Он хочет жить как сомнамбула. Но довольно ли его доброты и милосердия, чтобы получить право на место в реальном мире? Временами я забываю о жалости, в которую впадаю: он вдохнет в меня силы, мы отправимся путешествовать, будем охотиться в пустынях, спать на улицах незнакомых городов – беззаботно и бездумно. Или же проснусь, и законы и нравы – благодаря его магической силе – станут иными, а мир, оставаясь самим собой, предоставит меня моим желаниям и радостям, моей беззаботности. Но подаришь ли ты мне ее, эту полную приключений жизнь из детских книжек, в награду за мои страдания? Это ему не под силу. Я не знаю, к чему он стремится. Он обмолвился, что и ему знакомы сожаления и надежды, но это не должно меня касаться. Случалось ли ему беседовать с Богом? Быть может, воззвать к Богу следовало бы мне самой. Но я пала так низко, что разучилась молиться.

Поведай он мне о своих печалях – смогла бы я понять их лучше его насмешек? Он изводит меня, часами стыдит за то, что могло трогать меня на свете, и возмущается, если я плачу.

«Взгляни-ка вон на того молодого хлыща, что входит в красивый и спокойный дом: его зовут Дюваль, Дюфур, Арман, Морис – не все ли равно. Этого злобного идиота полубила одна женщина; она умерла, и теперь, разумеется,

ее место на небесах, среди святых. Вот ты и хочешь меня доконать, как он доконал ее. Такова уж наша участь – участь сердобольных людей...» Увы! Бывали дни, когда любой человек действия казался ему порождением бреда: глядя на таких, он давился от мерзкого хохота. – А потом снова напускал на себя вид любящей матери, любимой сестры. Будь он хоть чуточку поделикатней, мы были бы спасены. Но и деликатность его смертоносна. Я покорна ему. – О, безумная!

Когда-нибудь, наверное, он таинственным образом исчезнет, но мне нужно знать, удастся ли ему взлететь в небо, я хочу хоть краешком глаза увидеть вознесение моего дружка!»

Ничего себе парочка!

Перевод Ю. Стефанова

II

Алхимия слова

О себе самом. История одного из моих наваждений.

Я издавна похвалялся, что в самом себе ношу любые пейзажи, и смехотворными мне казались знаменитые творения современной живописи и поэзии.

Мне нравились рисунки слабоумных, панно над дверями, афиши и декорации бродячих комедиантов, вывески, народные лубки, старомодная словесность, церковная латынь, безграмотное скабрёзное чтение, романы, которыми упивались наши прадеды, волшебные сказки, детские книжонки, старинные оперы, глупенькие припевы, наивные ритмы.

Я грезил о крестовых походах, пропавших без вести экспедициях, государствах, канувших в Лету, о заглохших религиозных войнах, об изменившихся в корне нравах, о переселениях народов и перемещениях материков: я верил во все эти чудеса.

Я изобрел цвета гласных! А – черный, Е – белый, И – красный, О – синий, У – зеленый. – Я учредил особое написание и произношение каждой согласной и, движимый подспудными ритмами, воображал, что изобрел глагол поэзии,

который когда-нибудь станет внятн сразу всем нашим чувствам. И оставлял за собой право на его толкование.

Все началось с поисков. Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое. Запечатлевал ход головокружений.

Вдали от птиц, и стад, и поселянок.
Что пил я в этот полдень на поляне.
Став на колени среди орешин нежных
В зеленоватом и парном тумане?

Что мог я пить на берегах Уазы
Из желтых фляг? – А отчий кров далек.
Неласков небосвод, безмолвны вязы.

– Пил золотой и потогонный сок.

Я стал трактирной вывеской обманной.

– Прошла гроза, отполыхал закат.

Ручей почти иссяк в глуши песчаной,

И божий ветер швырял по лужам град.

А я рыдал – и был питью не рад.

Июнь, рассвет уж недалек.

Любовникам так сладко спится.

В саду никак не испарится

Пирушки запашок.

А в гулкой мастерской, где льют

Своё сиянье Геспериды,

Нездешних Плотников бригады

Взялись за труд.

Спокойно и неторопливо

Они сколачивают щит,

Где город облик свой фальшивый

Изобразит.

И ты, Венера, ради них,
Строителей из Вавилона,
Оставь любовников на миг,
Увенчанных твоей короной.

О Королева Пастухов,
Ты поднеси-ка им по чарке.
Дай после праведных трудов
Омыться в море в полдень жаркий.

Разное поэтическое старье пришлось весьма кстати моей словесной алхимии. Я свыкся с простейшими из наваждений: явственно видел мечеть на месте завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, салоны в озерной глубине, видел чудищ и чудеса; название какого-нибудь водевильчика приводило меня в ужас.

А потом разъяснял волшебные свои софизмы при помощи словесных наваждений.

В конце концов я осознал святость разлада, овладевшего моим сознанием. Я был ленив, меня томила тяжкая лихорадка, я завидовал блаженному существованию тварей – гусениц, олицетворяющих невинность в преддверии рая, кротов, что воплощают в себе дремоту детства.

Характер мой ожесточался. Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов;

Песня самой высокой башни

О приходи же, приходи,

Пора волнения в груди!

Я столько терпенья

Вложил в ожиданье!

Исчезли сомненья,

Угасли страданья.

Но жаждой бессменной

Отравлены вены.

Жри	булыжник,	щебень	лопай,	
Разгрызай		кирпич	стены	
И	лепешки,	что	потопом	
Были встарь испечены.				
Волк	под	деревом	орал,	
Пухом-перьями			давился:	
Много	он	курей	сожрал.	
Я вот так же изводился.				
Каждый	овощ,	каждый	плод	
Жадно	ждет	ножа	и	вилки,
А	паук	в	щели	жует
Исключительно фиалки.				
Ах,	уснуть	бы!	Сладок	сон
На		жаровне		Соломона.
Вдоль	по	ржавчине		бульон
Льется в сторону Кедрона.				
И наконец – о счастье, о торжество разума! – я сорвал с неба черную лазурь и зажил подобно золотой искре <i>вселенского</i> света. От радости я напустил на себя донельзя шутовской и дурашливый вид:				
Она				отыскалась!
Кто?		Вечность		сама.
В	ней	море		смешалось
С солнцем.				
Душа		моя		прочно
Хранит		твой		завет,
В	борении		с	ночью.
Без скидки на свет.				
Нет,		ты		неподвластна
Молве				ежечасной.

Пустой суете!
 Лети же, лети...
 – Не будет спасенья.
 Нет *вех* на пути.
 Ни знанью, ни рвению
 От мук не спасти.
 Погаснет жар
 Поддельных чар.
 Беречь свой пыл
 Он должен был.

Она отыскалась!
 – Кто? – Вечность сама.
 В ней море смешалось
 С солнцем.

Я превращаюсь в волшебную оперу; я вижу, что все сущее обречено стремиться к счастью. Действие – это не жизнь, но способ попусту тратить силы, нечто вроде невроза. А мораль – это размягчение мозгов.

Мне кажется, что каждое существо должно быть наделено множеством *иных* жизней. Вот этот господин не ведает, что творит: на то он и ангел. А вон та семейка – настоящий собачий выводок. Перед многими людьми я во всеуслышание заводил беседу о каком-нибудь из мгновений их иной жизни. – Так я влюбился в свинью.

Ни один из безумных – отдающих желтым домом – софизмов не был мною забыт: я мог бы пересказать их все подряд, у меня своя система.

Здоровье мое пошатнулось. Меня обуял ужас. На много дней я провалился в сон, а пробудившись, продолжал видеть наяву печальнейшие сны. Я созрел для кончины, и слабость моя опасными тропами вела меня на край света и Киммерии, родины мглы и водоворотов.

Я превращаюсь в волшебную оперу; я вижу, что все сущее обречено стремиться к счастью. Действие – это не жизнь, но способ попусту тратить силы, нечто вроде невроза. А мораль – это размягчение мозгов.

Мне кажется, что каждое существо должно быть наделено множеством *иных* жизней. Вот этот господин не ведает, что творит: на то он и ангел. А вон та семейка – настоящий собачий выводок. Перед многими людьми я во всеуслышание заводил беседу о каком-нибудь из мгновений их иной жизни. – Так я влюбился в свинью.

Ни один из безумных – отдающих желтым домом – софизмов не был мною забыт: я мог бы пересказать их все подряд, у меня своя система.

Здоровье мое пошатнулось. Меня обуял ужас. На много дней я провалился в сон, а пробудившись, продолжал видеть наяву печальнейшие сны. Я созрел для кончины, и слабость моя опасными тропами вела меня на край света и Киммерии, родины мглы и водоворотов.

Мне пришлось пуститься в странствия, чтобы рассеять чары, завладевшие моим рассудком. На море, которое я полюбил так, будто оно должно было смыть с меня всю мою скверну, я видел восход утешительного креста. Я был проклят радугой. Счастье стало моим роком, укором, червем, гложащим мое сердце; жизнь чересчур огромна, чтобы посвящать ее силе и красоте.

Счастье! Смертельно сладостный его укус, даже в самых мрачных городах, предупреждал меня, что вот-вот запоет петух, *ad matutinum*, и что *Christus venit*.

О замки, о времена!

Найдется ль душа без пятна?

Знаком я с ученьем дивным

О счастье неизбывном.

Я славил его стихом,

С первым встав петухом.

Но это мне надоело:

Счастье меня заело.

Душу взяло и плоть —
Как его побороть?

О замки, о времена!

И все же его уход

Гибель мне принесет.

О замки, о времена!

Все это в прошлом. Теперь я научился чтить красоту.

Невозможное

Ах, жизнь моя в детстве, большак, что пролег сквозь бездну времен, – жизнь немислимо скромная, нищенски бескорыстная, гордая тем, что ни роду у нее, ни племени, – какой же глупостью она была! – А я только сейчас до этого додумался!

– Я был прав, что презирал всех этих добропорядочных людишек, не упускавших возможности урвать кусочек послаще, этих трутней, живших за счет опрятности и здоровья наших женщин – пусть даже сейчас женщины эти не очень-то с нами ладят.

Я был прав в своем высокомерии: вот почему теперь я спасаюсь бегством.

Спасаюсь бегством.

Но перед тем объяснюсь.

Еще вчера я вздыхал: «О небо! Проклятых и в земной юдоли предостаточно. Я сам давно состою в их компании. Я их наперечет знаю. Мы с первого взгляда друг друга узнаем и, однако, терпеть друг друга не можем. Милосердие нам неведомо. Мы тем не менее вежливы, и отношения наши с миром вполне благопристойны». Ну и что тут удивительного? Мир! – торгоши да простаки! – Чести мы не лишились. – А вот как отнеслись бы к нам избранники? Есть ведь такие развеселые злыдни, избранники-самозванцы – к ним не подступишься, не набравшись либо храбрости, либо смирения. И никаких иных избранников на свете нет. А от этих добра не жди.

Нажив себе на два гроша ума – это проще простого! – я докопался до причины моих напастей: оказывается, до меня поздно вато дошло, что живем-то мы на

Западе. В западном болоте. Не то чтобы свет для меня померк, облик мира искажился или все вокруг пошло наперекосяк, но все же... Да ладно! Теперь мой дух во что бы то ни стало хочет погрузиться в испытания, выпавшие на долю всечеловеческого духа с тех пор, как пришел конец Востоку... Этого хочет мой дух.

...Но мои два гроша ума давно растрочены! – Мой дух-повелитель хочет, чтобы я остался на Западе. Надо бы ему заткнуть глотку – тогда все пойдет по моему.

Я посылая к черту мученические венцы, блеск искусства, гордыню изобретателей, пыл грабителей; я возвращался на Восток, к первоизданной и вечной мудрости. – Видимо, все это лишь мечты отчаянного лентяя!

И однако я вовсе не помышляю о том, чтобы уберечься от страданий теперешнего мира. Я не имел в виду ублюдочную мудрость Корана. – Но разве не проклятье тот факт, что со времен появления науки и христианство, и человек *тешатся самообманом*, доказывают себе самоочевидные истины, пыжятся от удовольствия, умножая эти доказательства, – только тем и живут! Пытка мелкая и глупая – в ней источник моих духовных метаний. От нее, может статься, и самой природе стало бы невмоготу. Господин Прюдом родился вместе с Христом.

Не оттого ли все это, что мы любим разводить туманы? Питаемся лихорадкой пополам с водянистыми овощами. А пьянство! А табак! А невежество и слепая преданность! – Как все это далеко от мудрости Востока, прародины человечества! Куда годится современный мир, если в нем изобретаются такие яды?

Церковники скажут: все это само собой разумеется. – Но вы же имеете в виду Эдем! А что для вас вся история восточных народов? – Ровным счетом ничего; я ведь об Эдеме и мечтал! И что проку для моей мечты в чистоте древних рас! А философы: мир не молод и не стар. Просто-напросто человечество куда-то движется. Вы живете на Западе, но никто вам не запретит жить на вашем

Востоке какой угодно древности, и жить в свое удовольствие. Не считайте себя побежденным. – Зато у вас, философы, есть свой карманный Запад!

Дух мой, поостерегись! Буйством не спасешься. – Трудись над собой! – Ах, какой же тихходной кажется нам с тобой наука!

И тут я замечаю, что дух мой спит.

А ведь если бы, начиная с этого мига, он вечно бодрствовал, мы бы скоро обрели истину, которая, быть может, окружает нас вместе с сонмами рыдающих ангелов!.. Если бы он бодрствовал до этого мига, я не поддался бы тлетворным страстям в те незапамятные времена!.. А бодрствуй он вечно, я бы давно уже плыл по океану премудрости!..

О чистота, о невинность!

Миг пробуждения одарил меня кратким видением невинности! – Дух ведет к Богу!

Чудовищное невезение!

Перевод Ю. Стефанова

Вспышка

Труд человеческий! Это взрыв, временами озаряющий мою бездну.

«Ничего не суетно в мире; за науку – и вперед!» – вопит нынешний Екклесиаст, сиречь *каждый встречный*. А тем временем трупы злодеев и бездельников давят на сердца всех остальных... Ах, скорей бы, хоть чуточку скорей, – туда, за край ночи, к будущим вечным воздаяниям... Вот только не упустим ли мы их?..

– На что же я способен? Я знаю, что такое труд, знаю, как медлительна наука. Пусть же молитва мчится вскачь, пусть громыхает свет... Я вижу это воочию. В общем, все просто и ясно; обойдутся и без меня. Как и у многих других, у меня есть долг, и я буду горд, если не изменю ему.

Жизнь моя поизносилась. Что ж! Будем лицедействовать и бездельничать – о убожество! Будем жить, забавляясь, мечтая о невообразимых любовных играх и фантастических вселенных, пререкаясь и споря с видимостью вещей, – все мы: бродячий комедиант, попрошайка, художник, бандит – и священник! Лёжа

на больничной койке, я вновь остро почувствовал запах ладана – так чувствует его хранитель священных благовоний, исповедник, мученик...

Здесь сказывается мое паршивое воспитание. Ну да ладно!.. Прожил двадцать лет, протяну ещё два десятка...

Нет! Нет! Теперь я бунтую против смерти! Труд – слишком легкое занятие при моей гордыне; моя измена миру будет чересчур краткой пыткой. А в последний миг я пойду колошматить направо и налево...

И тогда, о бедная моя душа, вечность будет навсегда потеряна для нас.

Перевод Ю. Стефанова

Утро

Не у меня ли была *когда-то* юность – нежная, героическая, сказочная, хоть пиши о ней на золотых страницах? Вот уж удача так удача! За какой же проступок, за какую ошибку заслужил я теперешнюю мою слабость? Пусть попробует пересказать историю моего падения и забыть тот, кто утверждает, будто звери могут плакать от горя, больные – отчаиваться, а мертвецы – видеть дурные сны. Сам-то я ведь не смогу объясниться: стал чем-то вроде нищего, что знает только свои *Pater* и *Ave Maria*. *Я разучился говорить.*

И все же теперь мне кажется, что с моим адом покончено. Это и впрямь был ад, тот самый, древний, чьи врата рухнули перед сыном человеческим.

По-прежнему, в той же пустыне, в такую же ночь, усталым моим глазам является серебряная звезда, хотя это теперь нисколько не трогает Владык жизни, трех волхвов – сердце, душу и дух. Когда же, пройдя по отмелям и горам, мы будем приветствовать рождение нового труда и новой мудрости, радоваться бегству тиранов и демонов, концу суеверий и славить – первыми! – Рождество на земле!

Музыка небес, шествие народов! Рабы, не стоит проклинать жизнь!

Перевод Ю. Стефанова

Прощай

Вот и осень! – Но стоит ли жалеть о вечном солнце, если мы призваны познать божественную ясность – вдали от людей, которых убивает течение времени? Музыка небес, шествие народов! Рабы, не стоит проклинать жизнь!

Перевод Ю. Стефанова

Прощай

Вот и осень! – Но стоит ли жалеть о вечном солнце, если мы призваны познать божественную ясность – вдали от людей, которых убивает течение времени?

Осень. Возвышаясь в осенних туманах, наша ладья направляется в гавань нищеты, в обширный град под небом, заляпанным огнем и грязью. О истлевшие Лохмотья, размокший от дождя хлеб, хмель и тысячеликий образ любви – я распят вами! Неужто не будет конца владычеству этого вампира, повелителя миллионов мертвых душ и тел, *ждущих Судного дня*. Вновь мне чудится, что кожу мою разъедают грязь и чума; черви кишат в волосах и под мышками, а самые крупные угнездились в сердце; я простерт среди незнакомых, бесчувственных тел... И ведь я мог бы там умереть. Жуткое воспоминание! Ненавижу нищету.

И страшусь зимы, поры комфорта!

– Порою мне видятся в небесах бескрайние отмели, усеянные ликующим светозарным людом. Над моей головою – золотой корабль, его разноцветные флаги реют на утреннем ветру. Я вызвал к жизни все празднества, все триумфы, все драмы. Я силился измыслить новые цветы, новые звезды, новую плоть и новые наречия. Мнил, что приобрел сверхъестественную силу. И что же? Теперь мне приходится ставить крест на всех моих вымыслах и воспоминаниях! На славе поэта и вдохновенного краснобая!

И это я! Я, возомнивший себя магом или ангелом, свободным ото всякой морали, повергнут на землю, вынужден искать призвание, любовно вглядываться в корявое обличье действительности! Стать мужиком!

Не обманулся ли я? Быть может, доброта еще покажется мне сестрою смерти?

А теперь попрошу прощения за то, что кормился ложью. И в путь.

Ни единой дружеской руки! Где же искать поддержку?

Да, новые времена по меньшей мере суровы. Ибо я могу сказать, что одержал победу: скрежет зубовой, шипенье огня, чумные стенания – все это стихает. Изглаживаются нечистые воспоминания. И тают мои последние сожаления: зависть к нищим, разбойникам, спутникам смерти, ко всем отверженным. – Проклятые, если б я мог за себя отомстить!

Нужно быть безусловно современным.

Никаких славословий, только покрепче держаться за каждую завоеванную пядь. Что за жестокая ночь! Засыхающая кровь испаряется с моего лица, и нет за мной ничего, кроме этого ужасного деревца!.. Духовная битва столь же груба, как и человеческое побоище, но видение справедливости – это радость, доступная лишь Богу.

И, однако, настал канун. Примем же всякий прилив силы и подлинной нежности. И на заре, вооружившись страстным терпением, вступим в сказочные города.

Что я там говорил о дружеской руке? Слава Богу! Я силен теперь тем, что могу посмеяться над старой лживой любовью, заклеить позором все эти лицемерные связи – ведь мне довелось видеть преисподнюю и тамошних бабенок, – и мне по праву дано будет духовно и телесно обладать истиной.

Перевод Ю. Стефанова

Примечания

1

Прекрасное существо (*англ.; примеч. переводчика*).

2

Основа (*англ.*). Имя персонажа из «Сна в летнюю ночь» Шекспира. (*Прим. переводчика*).